

Аня
Лихтикман

составитель:

А
Л
У
К
С



Лора
Белоиван



ПРОКОТЯКОВ

Нина
Хеймец



Кэти
Тренд

Ю

Р

А

И

проект textus

Татьяна
Замировская



Аме
Гарридо

Макс Фрай

Прокотиков (сборник)

«АСТ»

2015

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Фрай М.

Прокотиков (сборник) / М. Фрай — «АСТ», 2015

Когда-то у нас с издательством «Амфора» был совместный проект под названием ФРАМ. Мы его придумали, чтобы издавать сборники рассказов разных авторов, тематические и просто хорошие. И действительно издали много прекрасных книг. Проект ФРАМ давным-давно закрылся, а мы с его постоянными авторами стали жить дальше. И писать разные книжки, теперь уже не вместе, а самостоятельно. Ну или не писать. Кто как. С тех пор прошло несколько лет, но, по большому счету, ничего не изменилось – в том смысле, что мы по-прежнему любим друг друга и скучаем по тем временам, когда вместе писали и собирали книжки, и у нас здорово получалось, с каждым годом все лучше. И мы наконец решили, что надо бы снова собраться всем вместе и поиграть в свою любимую игру под названием «Новейшая русская литература. Сделай сам». Заодно, чтобы два раза не вставать, мы решили завоевать мир. Не то чтобы он нам был позарез нужен, но в завоёванном мире гораздо приятней писать книжки. И, кстати, проще их издавать. Общеизвестно, что завоевать мир проще всего с помощью котиков. Поэтому первая книга наших рассказов, специально собранная для редакции «Времена», так и называется: «Про котиков». И это не рекламный манёвр, а чистая правда. Ни единого рассказа, в процессе наррации которого не выскочил бы хоть один котик, в этой книге нет.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Фрай М., 2015

© АСТ, 2015

Содержание

Лора Белоиван	7
Нина Хеймец	11
Екатерина Перченкова	15
Татьяна Замировская	20
Сергей Малицкий	27
Юлия Сиромолот	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Прокотиков (сборник)

© Макс Фрай, составление

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Лора Белоиван

Каждый охотник желает знать

Что запомнилось про этот год:

1. Квадрат света на полу, точно по центру квадрата спит кот, над котом, ломая геометрию и физику света, тянется из окна палка золотой пыли, прямая, толстая, безопасная, глупая – хотела погладить кота и идти дальше, но ничего у нее не вышло, запуталась в коте, завязла в его мехах, стекла по котовой спине, по бокам, разлилась квадратом по полу, перестала быть; это октябрь.

2. Вырезанная из небесной картонки лошадь: вышел однажды за полночь (надо было вынести мусор) – пересек двор, открыл калитку, ступил в казенную уличную тьму (контейнер сразу за забором) и столкнулся лицом к лицу с лошадью, лошадь возвышалась над ним трагическим силуэтом, заслонившим звезды, лошадь, – сказал, – ты чья, хочешь хлеба? – лошадь кивнула, он положил пакет на крышку мусорки, метнулся в дом, вынес буханку – лошадь вежливо отъела половину, а от второй, поблагодарив, отказалась и пошла прочь, и он увидел, что лошадь в попоне, и с облегчением понял, что она не сирота, а просто полуночница и интроверт; это был ноябрь.

3. Сорока, унижавшая крысу: шел из магазина, задрал голову на звук самолета, тут же поскользнулся – снегу намело, прикрыло вчерашнюю злую гололедицу, передвигаться нужно было ювелирно, какие там самолеты – упал навзничь, но в мягкое, вдобавок получил утешительный приз, так как прямо под самолетом, на десять километров ниже, пролетала сорока, а в клюве у нее был зажат крысиный хвост, а на противоположном конце хвоста смиренно болталась его обладательница, живая и здоровенная как кабан – сорока сделала два круга над сугробом возле высокого красного забора с портретом собаки, прицелилась и разжала клюв, и крыса спикировала в снег, воткнулась в него ножичком, а сорока села на забор и захохотала, и он хохотал вместе с сорокой, глядя на то, как крыса выбирается из сугроба, как садится на него толстой задницей, как отряхивает свое матерое коричневое пальто от снега, как злится на сороку и на человека, валявшегося рядом, а потом удаляется куда-то в сторону калитки, важно, гордо, как будто это ее дом, ее собака во дворе и ее счет за электричество на столе в кухне, как будто замыслила написать петицию в ООН (Уважаемый господин Пан Ги Мун, хочу сообщить вам о фактах беззакония и унижения – ну и так далее); это был уже декабрь, две недели до дня рождения, оставалось пережить его – и все: свобода. Оставалось пережить.

...В декабре, 27-го, ему исполнится 40, и можно будет возвращаться к большой жизни, которой, правда, больше нет, но вдруг. Год назад, 26 декабря, он переехал в Южнорусское Овчарово, забрав с собой кота, ноутбук и какие-то одежды – потом пришлось докупать нужное в местном магазине, в город не поехал, потому что машину загнал в гараж и ни разу за весь год не выгнал ее погастись: заходил иногда, прогревал двигатель, и все. Никто из тех, троих, не уточнил, чего ему опасаться в 39, это он сам решил – и даже не решил, а почувствовал – что смерть будет подкарауливать его в дороге; дорогу он вычеркнул. А вместе с ней и все остальное.

4. Скрип кедра: в ту ночь налетел ураганище, кедр скрипел под ударами ветра, дом вибрировал и стонала крыша – а может быть, и не в дороге дело, думал он, может быть, вот оно, пришло, и некуда мне деться, вот он я – не забирай меня, слышишь?

Не забирай меня, эй, ты, слышишь? – валялся в температуре, – кто будет кормить кота? – Это тоже был декабрь, за девятнадцать дней до дня рождения, накануне прочитал в Интернете, что собака, оставшись в запертом доме с умершим хозяином, начинает жрать его труп через две недели, а кот на второй день; слышишь, скотина, вставай, просыпайся, я покажу тебе, как открывается мешок с твоей сухомяткой, а кран на кухне я заменю завтра же, знаешь какой поставлю? – лапой нажмешь сверху, и все, я потом покажу тебе, не пропадешь, потом тебя спасут, а срать, если я все, можешь где угодно.

...Хотя большей частью совсем о ней не помнил. Даже удивлялся: о чем еще думать в каждый из этих 365 дней, любой из которых мог стать последним? Но вот поди же ты: не думал, и все. Только однажды: когда простудился и схлопотал 39,5 – подумал, что же будет с котом, если вдруг это она и есть. На следующий день встал и, как обещал, сходил в «Антонию», купил другой кран на кухню. Попытался научить кота отжимать лапой рычаг смесителя, но кот повторить маневр отказался. «Ничего, – сказал коту педагогическим голосом, – нужда заставит, нажмешь». Какая нужда? Такая-сякая нужда.

5. Фазаны. Их было десять или больше, они слетелись к зарослям калины в углу сада, он долго смотрел на них в окно, и кот тоже смотрел, и челюсть его дрожала мелко, и издавал он звук, похожий на блеянье овцы, и вожделем фазанов – ты дурак, дурак ты, они ж выше тебя в холке, они тебя порвут и затопчут, ты посмотри, сколько их и какие они здоровенные – фазаны обрывали ягоды, снег вокруг калин весь был покрыт кровавыми брызгами – фазаны выедали из ягод семена, пренебрегая мякотью – кот не слышал его убеждений, кот дрожал челюстью и блеял; это тоже был декабрь, но еще тот, прошлогодний, почти неопасный.

Вместе с дорогой оказались вычеркнутыми: малые намеки на личное, работа, еще раз работа и еще раз работа; а также поездки в бассейн и на баскетбол по пятницам. А больше, кажется, и ничего: ну, просто жизнь, и все.

...В Овчарово переезжал будто спал. Дом купил, как потом довольно быстро понял, втридорога, но тогда ему и в голову не пришло ни поторговаться, ни изучить рынок деревенской недвижимости, схватил первое, где не надо было топить печку углем и таскать воду из колодца, но не потому, что лень было или не умел, а просто из вежливости: хотелось продемонстрировать смерти, что не считает ее дурой и готов усложнить задачу (хер тебе, смерть, а не угорание мое от несвоевременно закрытой вьюшки; хер тебе, смерть, а не утопление меня в обледе-нелом колодце). По этой же причине (хер тебе, смерть, а не ломание моей шеи при падении с лестницы) дом выбирал одноэтажный. Это были ритуальные телодвижения, почтительная игра в ладушки – он действительно был уверен, что ни печной угар, ни неловкое падение с верхней ступеньки, ни колодезная вода не грозят ему; только дорога, только путь.

6. Путь от дома до почты. Две параллельные линии, вытатуированные в памяти цветной китайской тушью – синяя линия дороги, сиреневая линия заката. На почту ходил всегда под вечер, чтобы наверняка не стоять в очереди – забирал посылки из интернет-магазинов, избегая ездить в город за нужными вещами. Весной, летом и осенью дорога на почту была другого цвета, и он не обращал на нее внимания.

Он не обратил внимания даже на второе пророчество, не говоря уж о первом. Первое было в первом классе, когда старшая сестра, старая дура-восьмиклассница, не прогнала его, салабона, спать, а разрешила сидеть вместе с ними, четырнадцатилетними дурами, и пялиться на блюдечко, которому дуры задавали вопросы и сами же себе по слогам отвечали – он и знать не знал, что они читают ответы, а не придумывают их из головы, он удивлялся дурацкой игре,

смысла которой не понимал, и когда дошла его очередь, спросил, кривляясь: «когда я умру», и старая дура-сестра ответила «Три, девять, в тридцать девять, долго еще».

Обеспечить коту доступ к воде догадался по-другому: просто стал оставлять дверь в туалет открытой, а с унитаза бачка снял крышку. Бачок всегда полон воды, хоть обпейся. Ходил и напевал два дня подряд: «Эй, чувак, не пей из унитаза, ты умрешь, ведь там одна зараза». Мешок корма, труп хозяина да унитазная вода – продержишься, кот.

7. Труп младенца, закутанный в одеяло. Его везли на санках девочки в ярких комбинезончиках, таких ярких, что в глазах рябило. Четыре тропические птички и труп младенца посреди синей линии дороги (сиреневая линия заката была выше и левее); он встал как вкопанный – девочки, что это?! А они: «нам мама разрешила». И только взглядевшись в стеклянные (силиконовые?) глаза мертвого ребенка, понял, не до конца веря себе: кукла. Их стали делать очень реалистичными, просто невозможно реалистичными, непонятно, как можно с этим играть, это надо скупать и массово хоронить за пределами кладбища, а они играют. Мама им разрешила.

Мама разрешила ему не ехать с ними на дачу – с условием, что непременно приедет через три дня и привезет ту большую кастрюлю, в которой – «ну, та, зеленая, на балконе стоит, мы в ней капусту еще солили» (кастрюля не влезла в машину; еще бы). Оставила 17 рублей: 15 – царский подарок по случаю поступления в университет, 2 – на сахар, хлеб и электричку. Он купил себе гитару – она стоила 16, пришлось занять рубль из хлебно-сахарных, а оставшийся рубль у него прямо возле магазина выманила цыганка – такой красивый, молодой, дай погадаю на любовь, на жизнь погадаю, на смерть погадаю, – а когда он кинулся спасать исчезнувшую бумажку и вцепился в цыганкин рукав, та ткнула ему в лоб коричневым пальцем и протараторила: «Все вижу, все скажу: путь человека имеет начало и имеет конец, конец пути начало бесконечности, что потеряешь, то обретешь, что обретешь, то оставишь, умрешь в 39 лет». Ну и блюдец, конечно, он тогда сразу вспомнил, но как вспомнил, так и забыл. Было бы о чем думать: 39 лет – нормально, пора; где денег взять на электричку? – поехал зайцем. Бегал от контролеров, как сайгак: раза три билеты проверяли.

8. Лето, море, центральный овчаровский пляж, устал загорать, встал, пошел в воду, окунулся, поплыл с закрытыми глазами – солнце сверкало нестерпимо, и блики от воды усиливали солнечную атаку – плыл, плыл, плыл, плыл – пока не ткнулся лицом во что-то нетяжелое, твердо-мягкое; открыл глаза: синий пакет, в нем квадратная вещь. Открыл, заглянул – кусок сала в укропе. Что обретешь, то оставишь; шмат сала килограмма на полтора, оттолкнул его рукой, пакет захлестнуло, и добыча пошла ко дну – так ржал, что едва не захлебнулся, и только вечером вспомнил, что до сорока лет еще почти полгода и что путь по воде все-таки тоже путь.

Третья встреча произошла через двадцать лет после цыганки, два года назад, в Китае: работал по контракту. У него вообще была хорошая работа, жалко было уходить вот так, как он это сделал – на пике карьеры, с отличным бэкграундом и прекрасными отчетливыми перспективами. Ушел-то, собственно говоря, потому, что сходил к китайской гадалке: случайно получилось, подошел в даосском храме к уборщице, а она и не простая. Нет, она не подбрасывала монетки и не рисовала линии (о И-Цзин, ты никогда не врешь, но в умелых руках всегда подаешь надежду тому, кто в ней нуждается), она смотрела выше глаз в переносицу, трогала голову и говорила стихами – твои числа 3 и 9, они очень влияют на твою жизнь, а больше я тебе ничего не скажу.

И еще целый год после этого он умудрялся не строить планов по спасению.

9. «Никому не говори». Эту фразу, накаляканную на бетонном заборе вдоль синей линии, он увидел в первый же раз, когда выбрался из своего нового жилья прогуляться и купить корма для кота. Шел и думал: «Само собой, не скажу». Приличного корма, кстати, ни в одном деревенском магазине не оказалось, пришлось возвращаться ни с чем и делать заказ в интернет-магазине: слава богу, заказы из зоомагазина привозил курьер, это выходило чуть дороже, но хотя бы не нужно было закладывать время на почтовую доставку. И когда шел обратно, увидел, что бетонный забор сплошь исписан всякой фигней, и самыми крупными месседжами были вовсе не «никому не говори», а «на суханку свернешь гондон найдешь» и «максим ты мне не нужен». «Никому не говори» терялось среди букв и примитивных непристойностей; странно, что он вообще увидел эту фразу. И не только увидел, но и уверен был, что она на заборе единственная.

Невозможность рассказать кому-либо о числах «3» и «9» не угнетала его, хотя несколько раз за последний год он как будто предчувствовал возможный соблазн проболтаться; только переехав в деревню, испытал облегчение: чем меньше коммуникаций, тем выше безопасность, как будто предсказание только и ждет, когда он облачит его в слова, тогда оно получит полную власть над ним; а до тех пор, пока он молчит, оно ничего не сможет сделать. Или почти ничего. Он даже коту не рассказывал подробностей, если не считать инструктажа по унитазной воде, сранью и пакету с кормом.

Кот все-таки вырвался наружу. Блеял, блеял, тряс челюстью, а потом взял и выломал оконную сетку, подкараулив оставленное открытым окно – декабрь, а теплынь какая на дворе, надо же: +4 на солнце, с крыш течет, с кедра течет, с калины течет прямо на фазанов. За день до спасительного сорокалетия сложил истекающего кровью кота в машину – кто б сказал, что фазан способен выдрать коту глаза, не поверил бы – и рванул в город.

10. Сверкающий асфальт удивительно похож на море.

В ветклинике коту умыли рожу, зашили порванные веки и сказали: «теперь как Вий». Глаза оказались целыми: видать, зажмурился, когда получал.

Обратно ехал в крайнем правом, со скоростью, при которой впору аварийку включать. Ну и включил, чтобы не фафакали со всех сторон.

Доехал, припарковался возле забора, вынул кота из машины, занес домой и, как был в куртке, лег на диван и натянул на голову плед.

До сорокалетия оставалось семь часов.

Проснулся в шесть утра. Рядом с ним на диване спал кот.

Встал, подошел к окну. Уперся лбом в стекло и расплющил нос. Вгляделся в утреннюю зимнюю темень. Присвистнул. Хмыкнул. Протер глаза, еще раз взгляделся в улицу, сладко, со вкусом потянулся и сказал:

– Вставай, кот, у нас машину угнали.

Нина Хеймец Ртуть

Я не знала, кто нарисовал этих кошек, да это было и неважно. Просто однажды я увидела, что они есть. Я шла в школу, обычной дорогой. Сначала – по тротуару, вдоль шоссе, а потом нужно было перейти на асфальтированную тропинку, ведущую вглубь квартала – мимо гаражей, железнодорожной поликлиники, какого-то завода с кирпичной трубой и мимо дома за высоким забором. Все дома в нашем районе были кирпичными, а этот – деревянным, неизвестно как сохранившимся. Дом был двухэтажным, сколоченным из досок, покрашенных зеленой краской. Краска давно облупилась, пошла трещинами, в которых проступала темная, набухшая от дождей древесина. Иногда мне казалось, что, если дождь продлится дольше – неделю или, может быть, месяц, – это темное и волокнистое выбьется на поверхность, вывернет доски наизнанку, краской внутрь. Калитка в заборе была всегда заперта на замок, но в доме все же кто-то жил – в окнах второго этажа, видимых с улицы, стекла были целыми и чистыми – во всяком случае, они блестели на солнце. Однажды, когда я шла там вечером, мне показалось, что в окне горит свет. Но он был тусклым, горевшим, казалось не в самой комнате, а где-то в коридорах, – так что я не была уверена.

В тот день я шла, почти не глядя по сторонам. Было начало осени, на кустах, росших вдоль тропинки, выросли белые ягоды. Многие из них уже упали на асфальт и смешно шелкали, если попасть на них ботинком. Я смотрела под ноги. Когда я поравнялась с деревянным домом, что-то заставило меня остановиться. Сбоку, там, где, если не смотреть туда прямо, всегда было темное пятно, что-то изменилось. Я повернула голову. За растущими вдоль забора кустами было что-то нарисовано. Я подошла поближе и раздвинула ветки. Я увидела крышу, покрытую серым металлом. Над крышей горели звезды. Вдалеке светились окна многоэтажек. На крыше сидели кошки. Две из них смотрели друг на друга, а третья, маленькая, – прямо на меня. Кошки побольше были черными, а маленькая – серой, с белым пятном между ушами. Я заметила, что перед каждой черной кошкой на крыше лежала рыбина, а перед маленькой – ничего не лежало, но под ее передней лапой виднелся крошечный блестящий шарик. Я отпустила ветки, вернулась на тропинку.

С тех пор, проходя мимо, я каждый раз останавливалась и, убедившись, что на тропинке никого нет и меня никто не видит, сворачивала с нее к забору. Преодолев сопротивление веток, я пробиралась сквозь кусты, а потом стояла и смотрела на кошек. Сначала я пыталась себе представить, как эти кошки оказались на крыше, откуда они пришли и откуда принесли рыбу – или, может, кто-то им ее принес и положил? И что за шарик придерживает лапой маленькая кошка? Но однажды, стоя там, я поняла, что про них не надо думать, не надо задавать вопросы. Они просто были там, а я на них смотрела.

Так наступила зима. Сугроб подступал к краю крыши, на которой сидели кошки. Казалось, стоит только решиться, сосредоточиться чуть сильнее, чем обычно, шагнуть чуть более смело, и я окажусь там, рядом с ними. Я знала, что подойду к краю крыши, с той стороны, и посмотрю вниз. Я увидела бы город, за ним – парк с замерзшим озером. Глядя сквозь верхушки деревьев, я увидела бы скользящие тени. Наверное, это были олени. За парком начинались гряды холмов, уходившие к горизонту, и там, на горизонте, взгляд различал едва намеченную темную полосу – море. Я отступала от края крыши, оборачивалась к кошкам и снова оказывалась в сугробе, перед дощатым забором.

Потом наступила весна. В тот год было много дождей. Краска, которой были нарисованы кошки, выцвела, они стали почти прозрачными. Каждый раз, проводывая их, я опасалась, что они исчезли. Но кошки пока что были там. Я думала о том моменте, когда я обнаружу, что их больше не видно, но все произошло не так, как я предполагала.

Однажды – это было в начале апреля – я возвращалась из школы и, подходя к деревянному дому, сразу заметила, что что-то не так. Рядом с домом стоял экскаватор, кусты вдоль забора были поломаны, и – я почему-то увидела это не сразу, а спустя несколько секунд – самого забора не было на месте. Я побежала к дому. У экскаватора я остановилась, пытаюсь восстановить дыхание. Я заглянула во двор. Теперь, при взгляде на первый этаж, стало ясно, что дом – не жилой. Окна были заколочены ставнями – кроме одного, совсем маленького, с разбитыми стеклами. Входная дверь была распахнута. У меня стучало в висках, и мне казалось, что все, что я видела вокруг – дом, старая узловатая яблоня у калитки, небо над крышей, – наскакивали, наслаивались друг на друга. Я подошла к входной двери, заглянула внутрь. Когда мои глаза привыкли к темноте, я их увидела. Доски были сложены у противоположной стены. Некоторые из них – прислонены к ней вертикально. Прямо перед собой я увидела маленькую кошку с пятном между ушами. Одна из двух черных кошек была там же, но перевернута вниз головой. Доска с ее хвостом стояла чуть в стороне. В штабеле досок, сверху, я увидела одну из рыбин и вторую черную кошку. Я прислушалась: снаружи было тихо. Я не могла их так оставить. Я разобрала штабель, вытащила из него нужные доски и, прислонив их к стене, восстановила рисунок. Правда, как я ни старалась, между досками остались зазоры. Подойдя к двери, я обернулась. За зазорами была темнота. Казалось, она вот-вот прорвется оттуда, и, когда это произойдет, уже ничего нельзя будет соединить. Я закрыла за собой дверь.

Я шла домой и пыталась придумать, что предпринять. Раньше я была только наблюдателем, которому случайно стал известен секрет – даже не сам секрет, а то, что он существует. Но теперь получалось, что кошек могу спасти только я. Если бы кошки оставались на заборе, теряли бы там цвет и исчезли, это было бы в порядке вещей. Но исчезнуть вот так, распавшись на фрагменты, утонув в темноте – нет. Дольше, чем до завтра, кошки не продержатся, это было очевидно. Надо было срочно что-то придумать.

– Завтра туда придут рабочие, – говорила я себе, – завтра уже ничего нельзя будет исправить. На чудо тут уже вряд ли можно рассчитывать. Тут нужно сильное средство, такое, чтобы наверняка. Но что это может быть? «Сильнодействующее».

И тогда я подумала про ртуть. Я вспомнила, как, когда я болела и мерила температуру, мама предупреждала меня, чтобы я осторожно обращалась с градусником. Еще я вспомнила, что годом раньше видела, как бабушка читает в «Науке и жизни» статью про опасные для здоровья вещества в нашем быту. Когда она отложила журнал и вышла из комнаты, я тоже просмотрела эту статью. Она оказалась неинтересной – написанной очень мелким шрифтом, с формулами и без картинок, поэтому читать я ее тогда не стала. Но в том абзаце, что я все-таки прочитала, как раз было написано про ртуть – что она испаряется, и если вдохнуть ее слишком много, то от этого можно заболеть и даже умереть, кажется, так. «Что может быть сильнее средства, от которого можно умереть? – думала я. – Если что-то может на кошек подействовать, дотянуться до них там, куда они удаляются, там, где они растворяются, то это – оно».

...Дома я открыла буфет и взяла оттуда градусник. Должен был быть еще один. Я нашла его в ящике серванта. Там же была жестяная коробка со швейными принадлежностями. Я взяла оттуда три оловянных наперстка. Получилось очень удачно – два было больших, а один – маленький, «детский». Потом я пошла в свою комнату и разбила копилку. Я положила в кар-

ман куртки термометры, наперстки, гладкий овальный камень, который я нашла в прошлом году на море, фонарик, деньги из копилки и вышла из дома.

Пришлось обойти несколько аптек – «Для чего тебе столько градусников, девочка?» Когда я подходила к деревянному дому, уже стужались сумерки. Рядом с домом никого не было. Я вошла внутрь и включила фонарик. Кошки были у стены, как я их и оставила. При свете фонаря казалось, что я вижу их более четкими, но одновременно и более плоскими. Надо было спешить.

Я поставила перед кошками наперстки, «детский» – перед маленькой. Потом я вынула из кармана первый градусник и разбила его острый кончик камнем. Я думала, ртуть будет жидкой и вытечет в наперсток, но оказалось, что она состоит из крошечных шариков. Они пролетели мимо наперстка и раскатились по полу. Я попыталась их подобрать, но они проскальзывали между пальцев. Я нашла в кармане конфетную обертку; с ее помощью мне удалось согнать ртуть в один из наперстков. Я вспомнила про блестящий шарик под лапой у маленькой кошки. «Может быть, это было послание, шифровка, как раз на такой случай», – подумала я. Дальше все прошло без происшествий. Я распределила ртуть по наперсткам. Села чуть поодаль, затаила нос и рот шарфом и стала ждать. Я собиралась дожидаться, пока средство начнет действовать. Я не знала точно, в чем это будет выражаться, но сразу бы поняла, что что-то происходит, – я не сомневалась в этом. Через какое-то время в фонарике села батарейка, в доме стало почти совсем темно. Я открыла дверь, но даже при свете луны и фонарей видела только очертания кошек, а потом и их перестала различать. Я подумала, что родители уже вернулись с работы и гадают, где я. Потом они станут беспокоиться, пойдут меня искать. Надо было возвращаться домой. Я решила зайти назавтра, по дороге в школу. Завтра все изменится, иначе не может быть. Уходя, я оставила дверь открытой – чтобы у кошек было больше возможностей.

Под утро у меня поднялась температура. Я слышала, как мама говорит папе, что я горю, но точно измерить мне температуру она не могла – оба градусника куда-то делись. Папа попросил градусник у соседей. Потом я слышала, как мама вызывает «Скорую помощь».

* * *

Я поднесла к глазам руки. Они были в сетке ярко-красных прожилок. Надо мной переплетались тонкие прозрачные трубки. Я смотрела на них несколько секунд – трубки стали зеркальными и теперь заполняли всю комнату. Они блестели так сильно, что смотреть на них больше не получалось. Сбоку было окно. В черном небе висели круглые блестящие звезды. Они пульсировали, подступая к стеклу.

* * *

Когда я снова открыла глаза, трубки надо мной были прозрачными. На потолке горела лампа дневного света, но я поняла, что сейчас – не ночь. Я снова посмотрела вбок. На стекле были капли дождя. Я задремала и вдруг услышала за окном глухой стук – как будто о металл ударилось что-то мягкое. Я повернула голову. Дождь перестал. За стеклом была кошка, маленькая, черная, с белым пятном на лбу. Кошка смотрела прямо на меня, а потом отвернулась и стала вылизываться. Потом она исчезла. На следующий день она снова пришла. Опять посмотрела на меня, а потом села, повернувшись ко мне спиной. Мне показалось, что в отдалении, где-то на этаже, я слышу голос мамы. Другой голос, незнакомый и более громкий, говорил, что опасность миновала, но состояние все еще тяжелое. Голоса стихли; я снова посмотрела

рела в окно. Кошки там не было, но на следующий день она появилась снова и уселась снаружи. «Она откуда-то перепрыгивает на подоконник, – поняла я, – видимо, с какого-нибудь дерева или гаража». Еще я точно знала, что никому не должна об этом говорить. Впрочем, меня никто ни о чем и не спрашивал: врачи часто подходили ко мне, считали пульс, проверяли трубки и тут же уходили. Так продолжалось еще несколько дней. Кошка появлялась примерно в одно и то же время, утром, проводила на подоконнике снаружи несколько минут, а потом резко отталкивалась и прыгала куда-то вбок – я успела это разглядеть. Я ждала ее. Однажды утром она не пришла. На следующий день меня отсоединили от трубок и разрешили попробовать встать. Я медленно села на кровати. У меня закружилась голова, но я все же встала и, едва удержавшись на ногах, шагнула к окну. Далеко внизу я увидела улицу. Деревья казались окутанными зеленоватой дымкой. За улицей начинался заводской квартал, тянулись вверх трубы, потом – крыши жилых домов. За ними начинался лес. Он уходил к горизонту, опрокидывался в него, как море. Я попыталась понять, каким образом кошка попадает на подоконник, прислонилась лицом к стеклу, попробовала посмотреть вбок, но у меня снова закружилась голова, и пришлось вернуться в кровать. На следующий день меня перевели в обычную палату, а еще через неделю мама забрала меня домой.

Прошло уже много лет, но я часто думаю о тех кошках, на крыше, и о той кошке, которая ко мне приходила. В моей памяти они почти не имеют цвета, почти прозрачны. Однажды они исчезнут, и я перестану вспоминать о них.

Екатерина Перченкова

Котя

Ирку мы полюбили с первого взгляда и навеки. До умопомрачения.

Наверное, потому, что она досталась нам готовенькой. Мы были молоды и бестолково самостоятельны и все еще полагали, будто сопливый орущий младенец, от которого никуда не деться вплоть до его совершеннолетия, – самое страшное, что может случиться с человеком. И поэтому Валию, Ирину маму, приняли настороженно, пытаюсь прочитать по ее лицу признаки одержимости распашонками и молочными смесями и слабоумного умиления по любому поводу. Но Валя оказалась нам вдруг совершенно своя, а вот Ирка...

Ирусик, Ирунчик, Ирсанна, деточка, лапонька, золотко, цветочек аленький (с непрямым московским придыханием, как в старом мультфильме), крохотная наша богиня, по кругу затисканная и зацелованная, одаренная всеми сокровищами мира, до которых могли дотянуться неловкие наши руки – куклами большими и маленькими, музыкальными шкатулками, расшитыми валенками, капроновыми бантами, цветными фломастерами, кубиками ручной работы и плюшевыми медвежатами.

Новую знакомую, вроде нас вчерашнюю студентку, мы стали звать мамой Валией и никак иначе, это считалось вроде почетного титула. Младенец – создание опасное в своей непредсказуемости, характер и талант его еще неведом, а у Вали была уже настоящая, подросшая девочка, и пускай никто из нас не хотел детей вообще – каждый мечтал себе такую же в точности, вот такую, какой мы увидели ее впервые.

В декабре праздновали мой день рождения, и дедушка привел Ирку из садика к нам, чтобы передать маме. Зимнюю нашу полутемную прихожую она озарила, только войдя: большеглазая, румяная с мороза, укутанная в шерстяной красный платок поверх пушистой шубки, с мокрыми от растаявшего инея длиннющими ресницами. Увидела маму, ресницами похлопала – и разревелась горько-горько. Пока ее раздевали, разували и утешали, выяснилась причина слез: в детском саду был мальчик, которого звали Котя. А Ирка, может быть, тоже хочет, чтобы ее звали Котя, но взрослые распорядились иначе и испортили ребенку жизнь, вот прямо всю-всю.

Котенька ты наша, – говорили мы, занимая ее наливным яблоком, и блестящей конфетой, и снежным шаром (шар, конечно, пришлось подарить).

Озарила, да. Быт наш творился непросто; сами недавние дети, мы еще не знали толком, что делать с собой, оказавшись в чужом городе, в неудобном плену съемных квартир и бесконечных долгов, нелюбимых работ и кратковременных трудных loves; мы еще держались друг за друга спасительной привычкой студенчества, но уже начали подозревать, что никому из нас не суждено выплыть в настоящую прекрасную жизнь, ибо если она и достается человеку – так только чудом. Только огромным везением, которого никогда не хватает на всех. Но ведь Ирка, Ирка наша была самым невозможным из всех вероятных чудес, она была живая, никто ее не зарабатывал и не выпрашивал, она появилась у мамы Валии сама по себе, непонятно за что. А мама Валя была такая обыкновенная, совершенно вроде нас, такая интеллигентная бледная моль в круглых очках и тонких кудряшках, что сама обыкновенность ее внушала надежду: может быть, и про нас запасены чудеса.

Если бы не Ирка, жизнь наша наверняка сложилась бы иначе. А так – я вдруг легкомысленно перестала стеречься возможного ребенка, высчитывая опасные дни, и вскоре мы с Гле-

бом уже стояли смущенные в районном ЗАГСе, потому что наша Аленка немедленно воспользовалась моей легкомысленностью и во мне завелась. Петрович познакомился с мамой своего Стасика в метро. Ольшанская бросила заморачиваться по своим восточным практикам, подразумевавшим стерильную чистоту духа и плоти, и забеременела двойней от учителя йоги, но замуж вышла почему-то за таксиста.

И ничего не случилось. То есть ничего страшного: мы продолжались на свете такими же молодыми и бесприютными, так же держались друг друга, просто нас стало больше на несколько маленьких человек – и мы начали жить размеренней и осторожнее, чтобы не повредить им случайно. Мы в них души не чаяли, но Ирка оставалась незабвенной нашей первой любовью.

Образцом, трафаретом, мерою сбывшейся жизни – вот кем она была для нас. Разведчицей из недалекого будущего: пока наша малышня училась ходить и говорить, Ирка уже писала остреньким наклонным почерком, уже играла гаммы на фортепиано, уже выпрашивала у мамы Вали духи и лак для ногтей и даже была влюблена в мальчика из музыкальной школы. Маме Вале удалось определить ее в гимназию с углубленным изучением французского языка, куда брали или очень богатых, или очень умных; таким образом Ирка оказалась признана очень умной официально. Воспитанная старательность сочеталась в ней с невероятной легкостью размышления, она была почти круглой отличницей и к девяти годам уже разговаривала совершенно как взрослый человек.

Не сказать, чтобы Ирке приходилось просто: во все детские печали и радости она бросалась самозабвенно, с головой, вдохновенно дружила и отчаянно ссорилась, горячо увлекалась и стоически терпела неудачи, болела всеми детскими болезнями подряд, ломала руку на катке, проваливалась однажды под хрупкий апрельский лед и два раза чуть не умерла от анафилактического шока. И никто – никогда – не ощутил ни малейшего желания сохранить ее, уберечь, закутать в уютную вату, потому что запас прочности Ирке достался поистине нечеловеческий. Это, наверное, мы, в юношеском неведении обрушившие на нее всю доступную нам любовь, накопили в ней этот запас. Другие взрослые, поняли мы потом, не поступают так, потому что боятся избаловать.

Какие они все-таки дураки.

Где была она – там не страшно было жить.

Как я смотрела на Аленку свою, бесконечно виня себя, что не могу дать ей самого лучшего на свете, что она моим попустительством долго еще обречена на съемную квартиру и не самую хорошую школу, что летом она увидит море только потому, что до него рукой подать; что я не куплю ей к сентябрю нового телефона, потому что должна выбирать между телефоном и ботинками для нее. Но приходили на чай мама Валя с Ирккой, и телефон у Ирки был тоже так себе, и ботиночки не то чтобы новые, и такая она была хорошая и складная, такая аккуратная, словно уверенное перо вывело ее поперек жизни поблескивающей черной тушью, так она была похожа на юную француженку из романтического кино, так спокойно держалась, точно ей принадлежал весь мир.

И пускай в этом мире она оставалась дома, когда одноклассники заказывали на каникулах поездку в Париж, пускай из-за аллергии у нее не было домашнего животного – а котика или собачку она хотела до слез, пускай старательная учеба оставляла ей уже совсем мало свободного времени – мир действительно принадлежал Ирке, покоряясь сиянию ее ослепительной юности.

И тогда я видела, что еще год или два – и в Аленке, пока еще неуклюжей и робкой, тоже проклюнется это властительное сияние, и все будет хорошо.

...У мамы Вали – как это свойственно мамам – был надежный план относительно дочери. Конечно же, институт иностранных языков, конечно, синхронный перевод и международные отношения. Никакого филфака, никакой вот этой высокодуховной гуманитарной нищеты – хватит, натерпелись; в конце концов – просто стыдно идти в педагогический с такой золотой головой, просто невозможно отдать Ирку замуж за какого-нибудь бормочущего рифмоплета, как это водится у петербургских филологинь: ей по мамы-Валиному плану полагался как минимум перспективный дипломат.

Но у пятнадцатилетней Ирки оказалось свое разумение насчет дальнейшей жизни: одного похода с классом в Театр Ленсовета оказалось достаточно, чтобы сокровище наше принялось мечтать о театральной академии. Из детских уст вылетали даже чудовищные слова «Щепка» и «Щука», доводившие маму Валью и нас заодно буквально до обморока: Ирка всерьез рассматривала возможность уехать от нас в Москву, если не получится поступить здесь. И, как всякий подросток, она была совершенно бесчувственна к тому, что мы не можем расстаться с ней.

Дело спас случай, мы даже не сразу поняли это. Весною, заканчивая девятый класс, Ирка вдруг похудела и заблестела глазами, обзавелась полыхающим румянцем и привычкой записываться в ванной с телефоном, и театральная академия, и Щепка, и Щука померкли вдруг, отдалились, а потом и вовсе пропали из ее словаря.

– Это ведь давно пора было, – сказала мама Валя как-то вечером, испуганно глядя на меня. – Господи, а вдруг он ее обидит?

– Не дрейфь, мам Валь, – легкомысленно отмахнулась я, – мы же тогда его приедем. Вот этими самыми руками. Ты на нее посмотри, она же у тебя умница. И он наверняка не кто попало.

«Он» оказался десятиклассником Володей, улыбчивым, подтянутым мальчиком, поздним и единственным ребенком университетского профессора, и мама Валя, недавно еще до смерти перепуганная внезапной Иркиной любовью, то и дело скрещивала пальцы, стучала по дереву и даже немножко молилась – вот бы все так и осталось, вот бы сложилось, у детей это редко получается, но пусть будет чудо, ну пожалуйста-пожалуйста!

И чудо, казалось, пообещалось быть: юные влюбленные не забросили учебы и даже не слишком много времени проводили вместе, и в мамы-Валин суматошный быт с красивым своенравным подростком вошла вдруг уютная размеренность: сейчас девочка пойдет в школу, а потом вернется и будет делать уроки, а потом поедет на Чайковского к репетитору, после занятий Иру встретит ее мальчик, и они прогуляются до дома пешком, мама Валя приготовит им ужин.

То был благословеннейший год: мы с Глебом и Аленкой переехали в свою квартиру, мамы-Валин муж отправился работать по контракту в Корею до самой осени, Ирка была занята учебой и мальчиком, Аленка художественной гимнастикой, и мы с Валею гуляли по городу, ходили в кино, мерили платья на распродажах и выпивали невероятное количество кофе в маленьких кафе. Будто бы вымечтанная настоящая жизнь – та, что дается чудом и везением – наконец выпала и нам.

...Кончилась она в июне, в день рождения Петровича. Столпу и основателю студенческого нашего братства стукнуло тридцать семь, он был поэтом и опасался возраста, оттого потребовал у нас всемерной моральной поддержки, которая должна была проявляться целые выходные подряд на даче в Каннельярви. И если мы с Глебом могли бестрепетно отправить дите к бабушке, то маме Вале не с кем было оставить Ирку на два дня, а покидать ее в одиночестве было страшно.

А Ирка вдруг пришла отпрашиваться сама – на те же два дня, – и смотреть на нее было жалко.

Ей оставался еще школьный год, а Володя получил аттестат, и вдруг – отчего он не сказал раньше? – оказалось, что ему предстоит колледж где-то в Филадельфии, а потом университет там же. Конечно, если поступит. Но он – ты же знаешь, мам – такой умный, что поступит обязательно. И никогда не вернется.

И Валя, которой непролитые слезы в Иркиных глазах были как ножом по сердцу, отпустила ее провожать Володю на другую дачу, в компанию школьных друзей, взяв клятвенное обещание звонить каждые два часа и записав телефоны всей Володиной родни.

Мы сидели и морально поддерживали Петровича – то есть потребляли шашлык и вино под неспешную болтовню, безмятежно любясь высоченными соснами над дачной крышей. А Валин телефон все молчал, Ирка все не брала трубку, и потому становилось все тревожней и страшнее. И в четыре часа утра мама Валя поднялась из-за стола и решительным срывающимся голосом заявила: ты как хочешь, а я вызываю такси.

Поехали, сказала я.

План был такой: добраться до дома, такси не отпускать, поглядеть адрес Володиной дачи и карту в Интернете – что же мы, дуры такие, не записали сразу? – и немедленно ехать туда.

Но когда машина остановилась у подъезда, мы посмотрели наверх и обнаружили, что в кухонном окне горит свет. Поднялись на третий этаж бегом, минуя лифт, открыли дверь – и навстречу нам вышла Ирка в домашней пижамке, бледная от бессонной ночи.

– Ты к Володе не поехала? – ахнула мама Валя.

Ирка только вздохнула.

– Что случилось? Рассказывай немедленно! Поругались? Тебя обидели? Что?

– У них на даче, оказывается, четыре кошки, – сказала Ирка. – А у меня аллергия. Вот.

– Господи...

– Я не настолько злюсь, что он сразу мне не сказал, – усмехнулась Ирка, – чтобы омрачить отъезд своим холодным трупом. Такие дела...

– Господи, – опять сказала Валя. – Ирка! Прости меня, дуру... Я, – она беспомощно оглянулась на меня, – боялась, что вы с папкой притащите какого-нибудь засранца с улицы. Ты, понимаешь, маленькая. Папка еще хуже, чем маленький. А убираться мне. А ну как метить начнет... На клубнику у тебя аллергия. И на апельсины. А на кошек... это я тебе придумала. Ир, вы писать друг другу сможете... по скайпу говорить. Или я не знаю... ну хочешь, такси вызовем? Поедем туда? Или в аэропорт, может быть? Когда у него рейс?

– Не хочу, – сказала Ирка. И обхватила себя за плечи, как взрослая трагическая женщина, а лицо у нее стало вдруг совсем детское, губы задрожали и поползли в стороны – и она побежала в свою комнату и дверь за собою захлопнула.

– Слушай, сходи к ней, – попросила мама Валя через полчаса, когда мы немного пришли в себя и сварили кофе. – Посмотри, как там... Я что-то не могу.

– Дай ты ребенку поплакать.

– Она не ребенок давно... Ну сходи, а? Я уже натворила дел...

И я пошла утешать Ирку. Оказалось, что она лежит поперек кровати с ноутбуком и сосредоточенно раскладывает пасьянс, изредка всхлипывая.

– Ирка, прости маму, – начала я с места в карьер, – понимаешь, бывает...

Она ко мне даже не повернулась.

– Ирка, хочешь честно? Ты, конечно, мне не поверишь, но так оно и есть: первая любовь редко...

– Какая любовь? – всхлипнула она. – Ты о чем вообще?

– Так чего ты тогда реवेशь?

И тут Ирка, которая всегда плакала как настоящая красавица – хрустальными слезинками с неизменным лицом, – уткнулась лицом в подушку, вцепилась в нее обеими руками и оттуда, из подушки, заскулила тоненько и жалко, всем вздрагивающим телом уворачиваясь от моих перепуганных объятий.

– Ну что ты, Ирушка, солнышко мое, золото, котенька моя, что ты? – я не знала, то ли позвать на помощь маму Валу, то ли так и обнимать ее, плачущую.

– Когда мы жили на Электросиле, помнишь? – пробормотала она наконец, – в булочной был один котик... Я бы все на свете отдала, чтобы это был мой котик... Он был такой... ну, такой... Не серенький, а как будто коричневый, большой, и глазки желтые. И лапки толстенькие такие... Продавщица всем говорила – посмотрите, какой красавец, возьмите котика. И я все ходила и мечтала, что вот бы у меня не было аллергии, я бы его взяла и принесла домой, и сказала бы: мама, папа, это Котя, он будет жить с нами... И он бы спал со мной. И с бантиком играл.

– Ирка, ну ты что? Это когда было!

– Пусть бы она меня не обманывала! Пусть бы честно не разрешила! Я бы его тогда хотя бы потрогала... Он был такой... весь плюшевый...

– Горе ты мое. Тебе шестнадцать уже. Станешь совсем большая, будешь жить сама, заведешь себе котика.

– Это будет не тот котик, – зашмыгала носом Ирка, не отрываясь от мокрой подушки. И я оставила ее одну: иногда бывает так, что человеку надо просто поплакать.

Вишня тем летом пошла рано, мелкая северная вишня с горчинкой и зеленоватыми боками, вино из нее получалось волшебное, и варенье неплохое, а мы с мамой Валею до полудня с этой самой вишней пекли пироги, потому что прожили на свете взрослыми куда дольше Ирки и хорошо знали, что нужно делать в таких случаях.

Татьяна Замировская

Жемчужный сироп в оловянной чашке

Бабушке удивительно повезло, и всей ее семье, по-видимому, тоже. На бабушкино имя пришло роскошно оформленное приглашение, где указывалось, в частности, что она еще весной подавала заявку в церкви (все очень удивились: бабушка весной точно не могла ходить в церковь, потому что она уже восемь месяцев, как не ходила вовсе: шейка бедра, предательский хруст, последний шаг). Выяснилось, что эту заявку, поданную потусторонним, бесчестным образом, внимательно рассмотрели и полагают, что у обеих – бабушки и заявки – есть все шансы пройти досудебные предварительные испытания, поэтому всех приглашают с 12 по 20 марта включительно, в полном составе, такие правила, надо ехать.

Никто толком ничего не знал про испытания: так, доходили слухи, где-то вроде у друзей соседских родственников какая-то бабушка тоже получила приглашение, но никто ничего не уточнял – ни как правильно составить заявку, ни что там происходит. Все соседки, во всяком случае, божились, что сами заявок не оставляли и понятия не имеют, как это делается, но вот за горами, за лесами, в веселом чертовом Барнауле якобы чей-то дед Дима составил правильную заявку, и за ним примчали ангелы в синих плащах (параллельно порой прилагалась история про неправильную заявку деда Вовы – за ним говорящие свиньи приехали на безглазых конях верхом и увезли деда с собой навсегда, оставив залог – кованое кресло-качалку, которое качается и качается, остановить невозможно) и всю родню забрали, а потом все вернулись уже без деда, но с чемоданом подарков и сертификатом: дед прошел. Оно еще и удобно: хоронить не нужно, отпевать не нужно, ничего не нужно уже: прошел, прошел.

Потом оказалось, что маленький Арсений построил по бабушкиным сбивчивым советам церковь из спичек – именно в ней хитрая бабушка умудрилась оставить заявку, как сообщили им уже потом, когда приехали всех забирать. Собирались, будто цветы в букет – хрустящие, ломкие, пылающие праздничным бархатом, впереди как бы дача, санаторий, консерватория: Лана стоит в коридоре сияющая, как новая стиральная машина, у ее детей Арсения и Машеньки по мешку с любимыми игрушками (невозможно расстаться), бабушку ведет под руки папа Арсения и Машеньки, тихий толстый Чапа, Чапе со всеми нельзя, потому что он не кровный родственник бабушки, и конфетный букет из напмаженной Ланы и деток висит на Чапе с торжественным шипением: чашки помой, за водой следи, влажную уборку убери, еще одну не менее важную уборку убери, и не пей, ничего не пей, только воду, но из крана не смей.

Кран в ответ на запрет тоненько запел из кухни: прощался с бабушкой. Она обернулась легко-легко, как будто серебряная шаль упала с плеч, и махнула сухонькой ручкой, покрытой коричневой сеточкой: разрешила тишину. Кран перестал петь, и все вокруг перестало петь.

Все залезли в серебристую машину: бабушка и Лана с детьми. В машине уже сидел дядя Володя со своими мальчиками от трех браков: подростком Василием, восьмилетним Домиником и маленьким трехлетним Адрианчиком, которого бабушка вообще никогда не видела, потому что Адрианчик с дядей Володей и его третьей женой, корейанкой, жили в Калифорнии. Бабушка просияла, усадила Адрианчика себе на колени, он сморщился и завозился, запыхтел, судорожно забился локтями, как голубь, залетевший в мясную лавку. Лана вопросительно уставилась на брата Володю: оказалось, заехали за всеми – вначале за Володей, а потом вместе

с ним в Минск к первой жене и в Балтимор ко второй, с которой вместе Володя и эмигрировал. Последний раз Лана видела Володю десять лет назад. С тех пор он похорошел, погрузнел и стал похож на какую-то неназываемую мебель. Адрианчик завыл, извернулся ящером, бабушка засмеялась: ты, Вова, такой же упрямый был.

...Привезли, заселили в гостиницу, все объяснили наконец-то: такая программа, перенаселенность туда-сюда, буквально через пару сотен лет планируется Большой Суд, но всех сразу не потянут, это же миллиарды, незарегистрированных еще сколько, короче, муторный процесс, поэтому было решено ввести программу, чтобы некоторые желающие еще до Большого Суда прошли все судебные испытания и получили сертификат заранее. Зато тогда потом уже, когда Большой Суд, их это не касается, будут сидеть с сертификатами как зайчики.

Еще сообщили, что испытания все еще «прокатываются» и в дальнейшем будут модифицироваться, поэтому можно оставлять жалобы и предложения в специальной книге, и все потом обязательно учтут, вам же самим пригодится.

Пригодится, пригодится; тут все пригодится, все стодится. Гостиница оказалась царская, пятизвездочная: бассейн, азиатский ларек с дрожащим, как танцовщица, муссом из личи и манговым смузи в пластиковых ведерках, гигантское неоновое лобби с кальянным баром, музыкой и аниматорами для малышей, бармены услужливо говорят на всех языках, даже на польском. Лана во время ланча набирает полные карманы винограда, Арсений и Машенька тянут в номер вазу-кубок, усыпанную доверху золотыми, как монеты, карамельками.

Потом бабушка заходит к ним в номер – помолодевшая, в синем платье – и таинственно говорит, что заполнила все бумаги наконец-то и скоро убегает на первое испытание.

...Потом снова прибегает с букетом цветов (подарили на рецепции) и какими-то папками, оставляет их на подоконнике, волнуется, говорит, что придется много всего вспоминать, фактически, всю жизнь заставляя вспомнить и потом по каждому событию пройти схематически, и так каждый день.

Прибегает и убегает, видно, что немного нервничает, но и радуется тоже: глаза блестят, запястья спортивно пульсируют, улыбка не сходит с растерянного лица.

Все это время за ней по гостиничному коридору властно и важно ходит какое-то некрупное черное животное с налитыми кровью глазками и красной тряпочкой в зубах. Животное дожидается бабушку около двери в номер, внутрь не заходит. Выясняется, что действия каждого участника курируются свыше, поэтому должен присутствовать спутник и наблюдатель – у большинства это традиционный огнегривый лев или иное благородное схематичное животное вроде единорога; за одной старушкой, например, ходил бенгальский тигр ростом в два раза больше этой самой старушки, но у бабушки получилось совсем странное, пусть и величественное, животное. Машенька, всмотревшись в него издали, предположила, что это плешивый сурок. На деле же это было черное, неповоротливое кошачье животное, похожее на барса, но с неудобными плавательными перепонками на лапах и плотным кожистым, как у выдры, хвостом.

...Позже, благодаря эрудированному Володе, все выяснили, что бабушкин плешивый полутигр – это бабр. Бабр изображен на гербе Иркутска и, фактически, является выдуманым животным – неким трагическим гибридом уссурийского тигра и бобра: поспешные и тревожные геральдические художники, по словам Володи, не разобравшись в том, что бабр –

это тигр, а не бобр, пририсовали зверю плавательные перепонки и бобровый хвост. Оказалось, что в зубах у бобра – убитый им малютка соболев, который также присутствует на гербе Иркутска. Мертвый соболев доказывает, что существо с перепонками и кожаным хвостом – не бобр, а опасный и благородный тигр.

В детстве бабушка какое-то время жила в Иркутске. В общем-то, все сошлось. Пока Володя объяснял это сестре и племянникам в лобби, бабушкино животное внимательно, как сторожевой пес, присело и деликатно положило мертвого соболев прямо на ковер. Потом снова вцепилось зубами в трупик и, весело поднимая лапы, будто на марше, поспешило за бабушкой, пробегающей по коридору с очередной пачкой заполненных анкет.

Каждый день бабушка проходила испытания: ходила куда-то, возвращалась взволнованная, сияющая. Как-то пришла 16-летняя, пылающая, как камин. Однажды вернулась совсем ребенком, двух слов не могла связать. Но приходилось связывать как-то – по правилам, во время каждого испытания необходимо было спрашивать совета у одного-единственного кровного родственника. Бабушке объяснили, что она будет переживать различные важные ситуации из собственного прошлого, но сконструированы они будут так, что поступить правильным образом будет принципиально невозможно – и чтобы принять правильное решение, необходимо попросить совета у родственника. А потом принять еще одно решение: следовать совету или нет. Правильное решение только одно, ошибаться нельзя, но все это не очень страшно – даже если сертификат не дадут, все равно впереди маячит какая-то жизнь, все можно поправить потом, когда будет Большой Суд, к тому же, это тестовый режим, и, возможно, пару ошибок допустить можно.

Лана уточнила у бабушки: мама, ты оказываешься в ситуациях, которые у тебя когда-то были? – но бабушка хитро прищурилась и тонким голосом ответила: не совсем – тех, которых не было, но могли бы быть – и поэтому они выглядят и воспринимаются как подлинные. То есть, другие ситуации, которые ведут к таким же деталям биографии – понимаешь? Лана качала головой, вынимала из карманов халата утренний виноград и давила его языком: ничего не объяснить тут.

Вообще бабушка пришла к Лане за советом, и зверь бобр сидел молча под дверью, жуя плоть мертвого своего спутника так интенсивно, что казалось, что его бесконечно тошнит одним-единственным соболев. Бабушке выдали такую ситуацию: ей было хорошо за тридцать и она мучительно не могла разрешиться Ланой в роддоме, и врачи ангельским хором возвестили: выбирай, тут надо кого-то одного выбрать, или ты, или она, а выбрать невозможно, и ужасно болит, и синие круги под глазами крутятся-вертятся, как небесная мельница, а под чьими глазами – не очень понятно уже, просто нехорошие глаза вырезаны в потолке, выломаны усилием боли провалы-дыры, смотрят и ждут. Ты же сама рожала, объясняет бабушка Лане, ты должна знать, как поступать в такой ситуации, у меня сейчас это впервые. Лана подумала и ответила: а я бы осталась жить, наверное. Что дети, эти же дети потом всегда еще раз придут, а человека, если уйдет, назад не вернуть.

Тогда бабушка вышла в коридор и подумала: совет правильный. Потому что какая-то она странная, эта Лана, лучше бы ее не было. Делайте все так, чтобы со мной все хорошо было, попросила она врачей, если все пойдет не так, еще нарожаю. Потом оказалось, что это было правильное решение: ребенок родился кое-как, синий, как вечернее платье, но зашевелился, ожил, запищал неприятным котенком. Вечером, когда бабушка заполняет какие-то бумаги,

ей объясняют: все сошлось, разумный эгоизм – это нормально, если бы вы пошли на операцию, мы бы и вас потеряли, и ее, а так у вас дочка, поздравляем.

Потом бабушка вспомнила, что в реальности никаких проблем с Ланой не было вообще: родилась быстро и весело, здоровая, крепкая, как гранат, с густыми черными кудрями и цепкими сжатыми кулачками.

Но потом она поняла, как это работает: вот школа, подружка детства Леночка разбила вазу в учительской, и надо выдать, потому что всех оставят без экскурсии на хрустальную фабрику, но как выдашь подружку? Американский школьник Доминик хлопает девятилетнюю бабушку по плечу и говорит: глупая, это не предательство вообще, ты просто говоришь правду. И бабушка понимает: совет Доминика правильный, и, дрожа от стыда, произносит куда-то в пол пять кровавых слов, и на экскурсии вдруг осознает, какое тошнотворное множество этих обычных, бессмысленных ваз делают на фабрике – сотни, тысячи, – и берет одну из них с конвейера, чтобы медленно разжать руки и увидеть, как она рассыпается хрустальным букетом в воздухе: ваза ничего не стоит, но настоящая дружба стоит того, чтобы перечеркнуть ее навсегда пятью словами правды – и тем более она стоит этой отчаянной попытки вернуть ее этим бессмысленным актом самопожертвования. Потом оказывается, что решение было правильным: если бы Леночка осталась бабушкиной подругой, она бы разбила, будто вазу, ее семью, и Лана с Володей бы никогда не родились, да и Доминика бы не было.

Однако в реальной бабушкиной жизни все случилось не так: вазу расколотили они с Леночкой вдвоем, наказали за это двоечника Усманцева, а их дружба продержалась еще года три, пока Леночка не пошла по рукам, не разбежалась по мальчикам, подвалам, лагерям и зовущим пьяной песней летним закатам. Рассосалась, как опухоль, несущественная доброкачественная Леночка – кто бы мог подумать, что бабушке придется вспоминать ее дрожащие птичьи плечики уже на собственном, персональном закате?

...Вот бабушке всего восемь, и мама врывается в ее комнату: ты не спишь? я тебя сейчас убью.

Бабушка молчит, а мама спрашивает: снова читаешь в кровати? А у бабушки под кроватью сидит больной котенок со слезящимися, гнойными глазами, и котенка необходимо оставить, но как его покажешь маме, если у него вместо лица желтая уродливая корка? И она отвечает матери своей: да, читаю, и мать говорит ей: дай же мне книгу свою, я ее выброшу, потому что я предупреждала, еще раз, и я выброшу. И протягивает руку. И тогда бабушка впервые в жизни молится: господи, думает она, господи мой боже, пошли мне срочно книгу, пошли мне какую-нибудь книгу, чтобы солгать, потому что без книги никакой лжи не получится и все рухнет. Любую книгу вообще пошли, господи, даже не важно, какую, просто какую попало, можно даже плохую или ненужную тебе книгу, все равно ее выбросят, и я обещаю никогда не думать о том, что это была за книга, господи.

Бог не посылает ей книгу, под одеялом предательски пусто. Котенок начинает пищать, мама выуживает его из-под кровати и заставляет отнести назад на помойку, где подобрала. Восемилетняя бабушка с ворочающимся за пазухой мокрым, скользким больным котенком долго-долго стоит у ночных мусорных баков, вдыхает свежий весенний воздух и смотрит в янтарный квадрат собственной кухни, где маячит злобный мамин силуэт. Потом она просит совета у внучки Маши: уйти вместе с котенком из дома? Маша долго думает, потом отвечает: маму нужно слушаться, но и котенку нужно помочь – поэтому надо вернуться с котенком

и сказать, что послушалась и отнесла, но теперь снова принесла, со взрослыми такое иногда работает. Бабушка так и делает, после чего получает от мамы мокрым колючим полотенцем по щекам и шее, а котенок улетает в мусоропровод. Вечером ей сообщают, что и это решение было правильным: именно после этого инцидента у мамы началась депрессия и она решила уехать из Иркутска, потому что нет там жизни, нет. А так бы росла в Иркутске, и никого бы не было: ни Маши, ни Арсения, вообще другая была бы семья. Потом бабушка вспомнила, что кот Киса с первого взгляда бесповоротно очаровал маму, и переехали они только потому, что у мамы случилась не депрессия, а любовь с тем усатым моряком из Ильичевска, и Кису они везли потом с собой в деревянном ящике из-под персиков.

Дальше ситуации становились более сложными: вот бабушке уже 28, и у подруги Наденьки беда – изменяет муж. Да только знает об этом сама бабушка, а Наденька не знает, только подозревает что-то: мучается, советуется, роняет жемчужные безымянные слезы в горький суп. Бабушка узнала об этом от другой подруги, на работе: мир тесен! Та тоже была сама не своя – измеряла тесемкой талию, швыряла обеденный пирожок на белый кафель, шептала: не разведется никогда, пора рвать – и рвала на аккуратные мелкие кусочки пористый белый хлеб, словно невидимым птицам. Сказать ли Наденьке правду? Тогда та, хлебная вдова, наверняка получит свое счастье – но хорошо ли это? Бабушка решает выяснить все у Арсения, но он настроен воинственно: всех поубивать, никого не прощать, а мужа забрать себе! Но потом, видимо, вспомнил какой-то фильм и дал хороший совет: поговорить с мужем Наденьки самостоятельно, спросить, что он там себе думает. Бабушка назначает встречу мужу Наденьки, но тут выясняется, что муж уже давно влюблен в нее, в бабушку, и даже ту корову с работы он очаровал только для того, чтобы быть еще ближе к ней, к бабушке, из третьих каких-то рук, из пятых, десятых про нее все разузнать. И что делать, брать его или не брать? Брать, понимает бабушка, берет и плачет: не любит совсем, но такой совет. Лежит рядом с этим чужим мужем в постели, как с хлебным батоном: непонятно. Обнимать, не обнимать. Все чужое. Но вечером зверь бабр кладет мертвого соболя на ковер и говорит бабушке, что она приняла правильное решение, – этот чужой муж потом на ней женится и станет отцом ее двоих детей. Нашла свое счастье, но честным образом – это нормально, так можно. Бабушка не очень понимает, как так вышло – ведь в жизни она познакомилась с дедушкой на танцплощадке, и не отбивала его ни у кого, и не был он этим ватным чужим хлебным валиком, а был шумным и праздничным, как уличная рождественская ярмарка. Но там другие правила, видимо, там надо найти человека совершенно по-другому и совершенно другим человеком, чтобы сошлось.

И все сходилась, вот удача. С каждого испытания бабушка прибегала окрыленная, как девочка: пролетала, как пейзаж за окном скорого поезда, еще одна жизнь, но в ней все сходилась с той, что уже прожита и выжата, как горький лимон, оставив на доньшке стакана эти мимолетные, странные родственные связи: вот столик, вот внучка. Вот внуки, опьяневшие от яблочного компота и компьютерных игр, восседают на диване в коридоре и смотрят друг на друга с благородной ненавистью – раньше почти не виделись, а тут каждый день вместе.

Один из этих американских внуков помогает бабушке во время ситуации с огнем и первой любовью: пожар в соседнем доме, бабушке 12 лет, она стоит и жадно смотрит на пламя, и рядом убивается старушка с первого этажа – ой, болонка у меня там, болонка, воет она. Мальчик, в которого бабушка влюблена, вызывается помочь: я сбегая, я успею, что там, минута не дышать, намочу водой майку и голову ей обмотаю. Бабушка обхватывает его обеими руками и жарче пожара шепчет в его влажные уши: не пушу. Не пушу. И вдруг всем телом понимает, что у нее, оказывается, от рождения есть немыслимая, сладкая власть не пускать – и он никуда не пойдет, останется на месте памятником собственному благородству. Если отпустить,

может погибнуть. Но может и не погибнуть, и тогда он будет герой, а она будет тайная невеста героя, и у нее во рту становится солоно от предвкушения чудесного. Бабушка просит совета у маленького внука Адрианчика, которому всего три и которому она рисует всю эту ситуацию картинками, потому что английского она не знает: 12-летняя черноволосая девочка с маленькими жемчужными зубами, белыми мраморными плечами и круглым, как булочка, мраморным лицом сажает вертлявого бессловесного Адрианчика себе на колени и показывает ему картинки – что делать? Куда должен пойти мальчик – сюда? Или сюда? Адрианчик тычет потным розовым пальчиком в свинцовый карандашный кошмар – удерживать нельзя, понимает бабушка.

Совет оказывается правильным, успокаивают ее вечером – да, убежал и угорел, но все правильно. Если бы не угорел, стал бы ее мужем и никакого малыша Адрианчика бы не было. Правда, в реальной жизни все было не так – разжала руки, героем вбежал по лестнице вверх, выбежал жив-здоров с уродливой мышиною цвета сукой под мышкой, через три дня целовались на заброшенной стройке, через три года потеряла с ним девственность в подвале на солевых матрасах, будто на войне, и хотели пожениться, но не дождалась из армии, забыла имя, другие пришли и забрали все, что он не забрал. А в армии его убили в пьяной драке – видимо, потому что разжала руки тогда на пожаре. Если бы держала, то удержала бы. И стал бы ее мужем все равно, и никого бы не было, и какие-то другие люди давали бы ей сейчас какие-то другие советы.

И так девять дней подряд – вот сын Володя советует ей не защищать диссертацию (и это правильный совет, благодаря которому сам Володя появляется на свет), вот сын Володи, угрюмый подросток Василий, в основном проводящий время в баре и накидывающийся виски вместе с чьими-то чужими смешливыми внуками, которым тоже не очень нравятся эти бессмысленные каникулы, советует 16-летней бабушке все-таки сделать аборт и не рожать того, кто не станет лучшим в мире старшим братом Володе и Лане – и это тоже правильный совет, потому что нерожденный этот ребенок оказался бы умственно неполноценным и при случае свернул бы маленькой Лане шею (в реальности, заметим, никакой незапланированной беременности не было), вот маленькая Маша подсказывает, как поступить с найденным на улице кошельком с пенсионным удостоверением внутри. Бабушкин зверь довольно поигрывает зажеванным до неузнаваемости сободем: все правильно, экзамен сдан, вот-вот дадут сертификат.

В последний день бабушке, необычайно посвежевшей от этого потока параллельных жизней и воспоминаний, приносят жемчужный сироп в оловянной чашке – это последний выбор, последняя задача, ответ на которую в любом случае будет правильным. Все испытания бабушка прошла, теперь нужно принять самое важное решение.

Пришла советоваться ко всем домашним сразу; собрались в большой комнате Ланы, конечно, неразбериха полная, Володя и Лана в один голос говорят, что не надо, но звучат неискренне, внуки советуют пить вообще все, что дают, потому что ничего не понимают, подросток Василий говорит, что хочет все выпить сам и не возвращаться нахер никогда из этого пионерлагеря, американский школьник Доминик деловито предлагает устроить голосование.

Бабушка объясняет, что она успешно прошла все испытания и может получить драгоценный сертификат – но возвращаться тогда уже не будет, нельзя, пойдет там дальше, куда по документам нужно пойти, а они вернутся без нее, с подарками и еще какими-то бонусами, может, даже денежными, она точно не уверена, но будут чемоданы, обещали чемоданы из лаковой змеиной кожи. Может вернуться вместе с ними, но тогда испытания могут обнулиться каким-

нибудь ее неправильным поступком и придется потом проходить их все заново. Да и вообще, живой человек в любое мгновение может наделать множество глупостей, даже если ему совсем немного осталось. Накричишь на расплескавшую сливовый сок дуру – вот и сгорел твой сертификат, и ты сам будешь вслед за ним потом гореть в геенне огненной.

Все немного посоветовались и решили, что лучше все-таки выпить, потому что потом бабушка сможет за них всех заступиться, когда будет Большой Суд, ну и потом еще этот сложный момент квартиры, они же все кучно толклись в двухкомнатной крошке – бабушка, Лана, муж Ланы и дети, которые же растут, платья-пианино-учеба, друзья-подруги-будущее. Двухкомнатная избушка ломится и разрывается от этого пухнувшего, как тесто, неясного будущего, полного дерзаний, побед, новых экзаменов, десятилетий передачи своего генетического кода в неясное вперед. Надо пить, иначе будущее, разбухнув и залепив собой входы-выходы, так и обмякнет прощальным выдохом. Все сдала, такая удача, надо идти дальше.

И это был правильный совет.

Но бабушка ему не последовала – лучезарно осмотрела всех присутствующих, поставила оловянную чашечку на пол, махнула рукой – легко-легко, как будто снова дает разрешение всему вокруг перестать петь – и вышла из комнаты.

В ту же секунду она оказалась у себя дома, под белым-белым одеялом. В комнату вошла мама и сказала:

– Кристина, ты не спишь? Я тебя сейчас убью.

Кристина в ужасе засунула руку под подушку и внезапно, обмерев от ужаса и восторга, нащупала там холодную, мокрую обложку какой-то неизвестной ей книги.

Одним рывком она выбросила книгу перед собой, как заряженный пистолет.

– Был уговор, – сказала мама. – Ты снова читала в кровати – я ее выбрасываю.

И ушла, держа книгу, с которой почему-то стекала вода, на вытянутых пальцах, будто змею. Что это была за книга, Кристина так и не поняла.

Зато она поняла, что это было правильное решение: ей снова восемь, и теперь она точно знает, что нужно сделать, чтобы всех этих людей, чьи туманные, расплывчатые лица уже начали сливаться в памяти в какую-то дождливую серую массу, в ее бесконечно огромной будущей жизни не появилось больше никогда.

Сергей Малицкий

Только не это

Я должен был споткнуться. Тот, кто перешагивает любые препятствия, обречен растаять на ровном месте. Менторис редко повторялся, но о том, что главный враг каждого заключен в нем самом, сказал трижды. В третий раз он сказал это через секунду после того, как выпал из галереи собственного зимнего сада. Полез закручивать разболтавшийся верхний шпингалет, из-под которого дуло на его лиловые аквариусы, и вывалился из окна. Но не потому, что оказался скользким подоконник или старика подвели колени, мне его цепкости еще учиться и учиться, а потому что дочь Пуэлла не сама пошла в цветочную лавку за подкормкой для его цветов, а попросила об одолжении меня, а уж я позаботился о собственном будущем. Растения подобны людям. То, что заставляет их выбрасывать умопомрачительные соцветия, людей порой лишает рассудка. И вовсе не обязательно прикладываться к заветной бутылке, достаточно поливать обожаемые цветочки, и однажды, где-нибудь через полгода, забраться на стремянку, чтобы в тысячный раз попытаться затянуть сорванную резьбу на проклятом шпингалете, заменить который тебя уже давно просила дочь. Она даже при мне жужжала тебе в уши, что однажды ты навернешься со своей стремянки, но ты только посмеивался. Ты был уверен в себе. Проклятый шпингалет был такой же неотъемлемой частью твоей незыблемости, как и потертый на краях удачный узел на счастливом галстуке и скрип в твоей трости, на которую ты опирался при ходьбе. Откуда тебе было знать, что испарения из цветочных ящиков оседают на потолке, нужная концентрация близится, и однажды неловкое касание потолочных панелей одарит тебя секундой эйфории? Я ждал полгода, пока ты решишь, что стал птицей. Секунда – это очень много. Достаточно, чтобы на твоём умном лице появилась глупая и восторженная улыбка, твоя левая рука сдвинула стеклянную завесу, а нога вынесла тебя на простор, где тебе останутся еще пять с половиной секунд. Одна, чтобы избыть остатки торжества, еще одна, чтобы осознать происходящее, и три с чем-то секунды, чтобы сказать мне последние слова. Или себе, потому что в мудрости тебе я никогда не отказывал, все-таки всему, что я умею, научил меня именно ты. И ты не обманул моих ожиданий. Прежде чем обратиться в мешок костей, успел сказать следующее: «мудак», – обращаясь к самому себе, – «стервец», – явно имея в виду меня, и «убей его, Пуэлла», – оглашая предсмертный наказ собственной дочери.

К сожалению, все это я услышал уже в записи, благо твой дом нашпигован камерами и датчиками, но услышал чуть позже. В тот же миг, когда ты совершал итоговый полет своей жизни, я висел на турнике, установленном в коридоре моей квартирki. Меня насторожил скрип половицы, но я не замер, а подпрыгнул и повис на перекладине, поэтому гарпун, выпущенный из моего собственного ружья для подводной охоты, пронзил мне не живот, а голень. Я скорчился от боли, разглядел нехитрый самострел, но не спрыгнул на здоровую ногу. Это было бы естественно, спрыгнуть, но ты ведь сам учил меня не действовать по шаблону? Из раны потекла кровь, наполнила ботинок и начала капать на пол, где принялась шипеть и обращаться в голубоватый газ. Не стоило десять лет слушать твои наставления и умирать на твоих тренингах, чтобы дышать голубой смертью. Представляешь, каково это, истекая кровью, висеть на одной руке, а другой расстегивать брюки и запихивать в трусы носовой платок? Справедливости ради, облегчиться в этот платок оказалось куда проще, чем я думал. Надеюсь, что тебе тоже это удалось перед смертью. И все-таки ты не только научил меня кое-чему, но и помог мне вылепить неплохое тело. Иначе откуда бы у меня взялись силы, вися на одной руке, истекая кровью и дыша через вонючий платок, раздумывать о твоём следующем шаге,

как ты собираешься скрыть следы преступления? Все-таки тебе следовало отвести от себя подозрения. Какой сюрприз ты предложишь?

Я не успел выстроить ни единого предположения, потому что запахло газом, а в следующее мгновение волна пламени с грохотом вышвырнула меня на лестницу. Я даже не успел порадоваться, что не закрыл за собой дверь, потому как очнулся только в больнице, где и увидел Пуэлла. Демон ее раздери, она была прекрасна и в горе. Принесла мне цветы и даже, кажется, не парным числом.

– Отца убили, – сказала она таким тоном, как будто я не лежал под капельницей, а молотил по боксерской груше в спортзале, и включила запись его голоса. «Мудак! Стервец! Убей его, Пуэлла!»

– У меня алиби, – прохрипел я, слепив на лице самую циничную из возможных гримас.

– Ты не спросил, как это случилось, – заметила она, вглядываясь в мое лицо.

– Любопытство – не самая сильная моя черта, – признался я. – Зачем мне это знать, если последнее, что я услышал от него с глазу на глаз, это угрозы убить меня, если я не отстану от его дочери?

– Разве ты приставал ко мне? – усмехнулась Пуэлла.

– А стоило? – я пошевелил скулами и понял, что мое лицо – не самая обоженная часть тела. – Надо было сказать папочке, что это его дочка затащила меня в постель?

– Тебе не понравилось? – осведомилась она и слишком пристально посмотрела мне в глаза. Так пристально, что я едва не поперхнулся. Там что-то было в этих глазах. Что-то такое, что требовало моего немедленного отсутствия. И в этой больничке, и в этом городе, и в этой жизни.

– Я приду завтра, – сказала она, – выздоравливай.

Ночью я оторвал прилепленный Пуэллой к моей повязке маячок и сбежал из больницы.

...Поезд из Генса на Синкопу отправлялся через каждый час. Две столицы Теллуса не оставляли друг друга в покое. Я купил самый дешевый билет, переночевал на верхней полке и уже утром сошел на главном вокзале Синкопы, постаравшись попасть в объективы хотя бы полудюжины видеокамер, хотя моя хромота и так выдавала меня среди десятков тысяч белых воротничков и синих комбинезонов. Затем я купил телефон на свое имя и сунул его в багаж какому-то толстяку, что отправлялся с семейством в Тенаси. После этого мне нужно было избавиться от хромоты. Пара уколов стимуляторов сделали свое дело, и в магазин дешевой одежды я зашел, почти не прихрамывая. Уже в полдень я был на окраине города и выглядел, как молодой мастеровой, которому не слишком повезло с трудоустройством. Старик на раздолбанном таксомоторе довез меня до соседнего городишки, славного осенней ярмаркой. Сделав пару кругов между торговыми рядами, я уверился, что за мной нет слежки, и снова взял таксомотор, правда теперь вернулся на одну из станций все той же межстоличной железной дороги. Уже следующим утром я вновь смотрел из окна поезда на покинутый мною город и даже разглядел в одной из кремовых многоэтажек темную оспину на месте своей квартиры. В полдень я вышел на шумной, но маленькой станции. До пахнувшей морем и дорогими духами Плаги оставалась еще половина суток пути, но мне дорога на популярные курорты пока была заказана. На станции я купил газету. Портрет Менториса обнаружился на третьей странице. Итог его жизни был обозначен лаконично – нелепая случайность оборвала многолетнее служение одного из столпов секретной службы Теллуса, кавалера почетных знаков Теллуса четырех степеней и прочее, прочее, прочее. Моя сгоревшая квартира не заслужила упоминания даже в разделе происшествий. Впрочем, в объявлениях, сразу за разделом легкого разрешенного колдовства кое-что было и обо мне. «Безутешная хозяйка разыскивает пропавшего котика Пессимуса. Особые приметы – припадает на одну ногу. Вернись, мой герой. Твоя Пуэлла». Сейчас все брошу и явлюсь пред твои очи, подумал я, запихивая газету в сумку, где уже лежало все

необходимое для моего безмятежного существования в ближайшие два-три месяца. Все-таки было что-то правильное в организации секретной службы Теллуса – выпав из окна, Менторис вышел в отставку не единолично, а вместе со всей агентурной сетью, замкнутой на него. Нет, конечно же, существовал новый контакт, который продлил бы надежду на безбедное существование, в том числе и зыбкую надежду на пенсион по выслуге, но этот контакт совпадал с дочерью Менториса, а в ее глазах сияло желание моего немедленного отсутствия. Так что выбора не было никакого. Новое лицо, новое имя, новое место жительства. Но чуть позже, месяца через два.

Еще через час я уже сидел в душном автобусе, который полз на север. Осень давала о себе знать. Бескрайние поля еще не успели пожелтеть, но их зелень поблекла. Вместе с ними поблекла и моя бодрость. Нога все еще не болела, стимуляторы должны были действовать неделю, к тому времени рана должна была затянуться, ее неплохо обработали в больничке, да и ожоги были не так уж видны из-под плекса, которым я обработал лицо и шею, а с болью я свыкся давно, но во всей этой истории было нечто не дающее мне покоя. Я на самом деле скучал по Пуэлле. Она была восхитительна, и мне казалось, что и я не оставил ее равнодушной. Другой вопрос, что это не помешало бы ей убить меня. Впрочем, верным было и обратное.

Автобус прибыл в Дамну далеко за полночь. В последние четыре часа он сначала забрался в горы, следуя какому-то неведомому мне графику, постоял на перевале, затем начал медленный спуск. По правую руку от меня в темноте дышало осеннее, еще теплое море, слева высились, перекрывая часть звездного неба, горы, и мне казалось, что я вновь стал маленьким человеком, люльку которого несет течение жизни, забавляясь с утлым суденышком по собственному разумению. Я не вышел на конечной, доплатил водителю и проехал еще с десяток лиг к северу. Автобус пополз к далекому Инанису, а я сошел с дороги, переоделся, оставил в укромном месте лишний багаж, содрал с лица плекс и уже через пару часов вошел в еще сонный, но уже просыпающийся поселок. Не знаю, что сказала бы, увидев меня, Пуэлла, но Менторис был бы доволен. Двухдневная небритость, следы недавней драки на лице, круглые с фальшивыми стеклами очки, широкополая шляпа, простые, но скроенные из дорогой, пусть и потертой ткани порты, модная рубаша навывпуск, холщовая сумка на одном плече и выдававший виды этюдник на другом, сандалии, куртка – все выдавало во мне художника. Кроме глаз. Пуэлла всегда говорила, что у меня глаза убийцы. Я отвечал ей, что буду прикидываться или мясником, или таксодермистом, хотя мечтал о чем-то утонченном. Можно было, конечно, надеть темные очки, но не хотелось привлекать к себе внимание. Все же Дамна не была курортным городком, скорее – рыбацкой деревней. Кажется, здесь еще добывали жемчуг, но, судя по бедности жилищ, едва ли преуспевали. Так или иначе, поселок лежал у меня под ногами, спускаясь террасами пыльных садов к морю.

Я подошел к автовокзалу за пять минут до прихода очередного автобуса. Сел на бетонный блок, долженствующий играть роль ограждения, закурил и стал ждать. Владельцы недорого жилья появились точно перед прибытием автобуса. И хотя большая часть его пассажиров оказалась местными жителями, которые тут же побрели вниз по улицам, с полтора десятка приезжих в некотором напряжении заняли места, подобные моему. Я покосился на своих конкурентов. Пяток старичков, прибывших подышать морским ветром, и пяток семейных пар среднего возраста, надеющихся отыскать утраченную молодость. Да, не всем доступны жаркие пляжи южного берега и уж тем более отели Плагы, Спеса или Цивитаса, но для того, чтобы отправиться в Дамну или в любой другой поселок на восточном побережье Теллуса, нужно было скатиться на самое дно. Впрочем, отчего же? Те, кто скатились, не могли себе позволить и Дамны. Так что лучше скатываться уже на месте.

– Убийца?

Женщина, которая остановилась напротив меня, была не молода, но и не стара. Захотела омолодиться, старость бы полезла из каждой морщины на ее лице, но она была естественна,

как пыль на этой площади и сухие листья на претерпевших от минувшей жары фискусах, что прикрывали раскидистыми ветвями ларьки с местным вином. Она была естественна и даже мила.

– Похож? – спросил я, выпустив клуб дыма ей в ноги.

– Есть что-то в глазах, – прищурилась она и поправила табличку на груди, на которой было написано – «жилье у моря». – И на лице.

– Да, – кивнул я. – Убийца, – и похлопал по этюднику. – Убиваю свой талант. Почти расправился.

– Судя по лицу, талант так просто не сдается, – скривила она губы.

– Это другое, – пожал я плечами. – Повздорил с прежними хозяевами. Они захотели семейный портрет в интерьере, а я запросил слишком высокую цену. Но если бы вы видели их лица, сочли бы, что я невредим.

– Не люблю живопись, – сказала женщина.

– Я тоже, – признался я. – Но все остальное я не люблю еще больше. Далеко от моря?

– Четыреста двадцать пять ступеней, – сказала она.

– А отсюда? – поинтересовался я.

– Отсюда – полторы тысячи.

– Удобства?

– Минимальные, – она явно издевалась надо мной. – Душ, умывальник, москитные сетки на окнах. Телевизора, открытых линий – нет, многие считают это за удобство. Сортир с водой. Постель со свежим бельем. Меняю раз в неделю. Захочешь есть у меня, договоримся.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Мата, – она не была оригинальна. – А тебя?

– Пессимус, – ответил я. – Сколько хочешь денег?

– Сколько тебе нужно времени, чтобы стать человеком? – усмехнулась она.

– Есть сомнения? – выпрямился я и напряг плечи, вызвав ее одобрительный кивок.

– Есть, – ответила она. – Пока что я вижу небритого типа с побитой рожей.

– Почему же ты подошла ко мне? – не понял я.

– От тебя не разит спиртным, – сказала она.

– Да, это упущение, – признался я. – Образ придется доработать.

– Десять монет в день, – сказала она.

– Недорого, – согласился я. – А если на целый месяц?

– Десять монет в день, – стояла она на своем. – Второй месяц пойдет по семь монет. Если останешься до весны – за последующие возьму по три монеты в день. Вперед нужно платить за каждые две недели.

– Соседи есть? – я полез в карман за приготовленным тощим бумажником.

– Не беру, – улыбнулась она. – Все соседи – я, сын и дочь. Уединение относится к числу удобств.

– Судя по тебе, твои дети еще подростки? – поинтересовался я. – А муж есть?

– Даже не вздумай, – улыбнулась она чуть теплее.

– А вот этого ты мне запретить не сможешь, – поднялся я. – Я властен над собственным телом, но не над вздумыванием. Впрочем, заставить себя писать картины тоже не могу. Я ужасно ленив. Что у нас с неудобствами?

– С чем? – не поняла она.

– С неудобствами. Ты перечислила удобства, должны же быть и неудобства.

– Есть и неудобства, – призналась она. – Сын у меня болен. Когда у него случаются приступы, я запираю его. Но он ведет себя тихо. И кот.

– Что с котом? – не понял я.

– Он ходит, где хочет, – пожала плечами она. – И еще он смотрит.

- На кого? – нахмурился я.
- На кого-нибудь, – усмехнулась она. – Будет смотреть на тебя.
- Это опасно? – пошутил я.
- В лицо не вцепится, – рассмеялась она. – Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все. Зажмурится и замурчит.
- А если погладить? – поинтересовался я.
- Изменой не сочту, – озадачила она меня ответом.

Все оказалось даже лучше, чем я предполагал. Хозяйство Маты располагалось в конце узкой улочки, по которой едва ли мог бы проехать лимузин чуть шире обычного таксомотора. За глинобитной стеной скрывался уютный сад, собачий вольер без собаки и низкий, но просторный дом с белеными стенами. Предоставленная мне комната меня вполне устроила. В ней не было насекомых, зато имелась широкая кровать и еще более широкое окно, выходящее на море. В одном углу стояла чугунная печка, в другом холодильник, телевизор я не любил, открытые линии и любые другие способы связи мне были противопоказаны, так что мое зимнее существование вполне могло оказаться приятным времяпрепровождением. Тем более что у хозяйки оказалась весьма миловидная дочурка Ангуза лет восемнадцати и сын чуть постарше. Мата представила его Лео. Высокий и стройный молодой человек если и страдал каким-то недугом, то никак этот недуг не обнаружил. Он не подал мне руки, но поклонился, приложив ладонь к груди и, обернувшись к матери, произнес непонятное:

- В сам-мый раз.
- Бывает не в самый раз? – поинтересовался я, смотря ему в спину.
- Случается, – кивнула она. – Человек полон неожиданностей. Услужливый старичок может оказаться склочником и скандалистом. Тихий счетовод – эротоманом. А одинокий военный – любвеобильным семьянином, к которому подваливают многочисленные родственники. Но обычно я разбираюсь с этим. Я вижу людей насквозь. Считай, что я колдунья.
- Надеюсь, не практикующая? – спросил я. – Колдовство запрещено уже лет сто.
- Так я тебе и рассказала, – улыбнулась она. Хорошо улыбнулась, тепло. И ее губы заслуживали поцелуя, не меньше. Или же она уже начала колдовать? Что ты можешь, девочка средних лет, против агента тайной службы? Смешно...
- И что же ты увидела во мне?
- То, что мне нужно, – она стала серьезной. – Ты – одинокий, сильный, ничего не боишься, но хочешь покоя.
- За покой нужно доплачивать? – я скосил взгляд на ее декольте.
- Покой не продается, – улыбнулась она. – Зато появляется и рассеивается сам собой. Поймешь.
- А где ваш кот? – спросил я.
- Вот он, – показала она, и я увидел здоровенного черного кота, который лежал на поленице дров.
- Он не смотрит на меня, – пожаловался я хозяйке.
- Спит, – она улыбнулась. – С котами это случается. Ты должен это знать.

Я спустился к морю к полудню. Против ожидания, на набережной оказалось довольно много народа. Отдельные смельчаки даже пытались купаться на узком каменистом пляже. Кое-кто прыгал с высокой скалы, которая торчала над крохотным заливчиком. Остальная часть берега представляла собой нагромождение бетонных кубов. Я перекусил на открытой веранде деревенского ресторанчика, затем взял пиво и присел на скамью на набережной.

– Знаете, как называется эта скала-м? – услышал я скрипучий голос. Он так и произнес: «Скала-м». Рядом со мной присел напоминающий седой репей старик. Точнее, забрался на скамью с ногами, как подросток или какой-нибудь пустынный погонщик верблюдов.

– Нет, – признался я. – Я здесь впервые.

– Она-м называется м-блюющий в море м-мужик, – сказал старик, расчесывая ногтями собственную шею. – Вон – нос-м, лоб-м, эти скалы – плечи. Берег – его задница. Вон тот выступ-м – верхняя губа. А м-буруны под ней – блевотина. М-похож?

– А еще какие есть здесь достопримечательности? – спросил я. Мяукающее заикание старика начинало меня раздражать.

– М-помилуйте, – рассмеялся старик. – Это обычная м-деревня. Какие тут могут быть достопримечательности? Здесь живут те, которые никого не хотят видеть. М-найдите на карте еще одну деревню, в которой нет ничего примечательного! Таких больше нет. Ни залива, ни нормального пляжа, ни гор над ним, ни особенного вида, ничего. Здесь ничего нет. Живут здесь те, кому ничего не нужно. Приезжают сюда разнообразные м-никто. Вот вы м-кто?

– Художник, – сказал я. – Но плохой художник. Никто, если следовать вашим рассуждениям.

– Да м-хоть любой, – махнул рукой старик. – Что тут рисовать?

Я бы нарисовал море. В нем и в самом деле не было ничего необычного. Волны, волны и волны. И серо-сине-зеленые мазки до горизонта в зависимости от того, что сверху – облака или чистое небо. Пахло рыбой, водорослями и еще чем-то пряным. Вот только рисовать я не умею. Набил ящик эскизами, купленными на рынке. Выбирал самые плохие. Чтобы мазня мазней.

– Скажите, а вы м-верите в нечистую силу? – спросил меня старик. – А в колдовство-м?

– Зачем мне это? – допил я пиво. – Я верю в море. В небо. В ветер. В это пиво. Нет, в пиво я уже не верю. Сейчас возьму еще бутылку и снова буду верить. Зачем мне ваша нечистая сила?

– М-неправильный вопрос, – проговорил старик. – Зачем м-мы нечистой силе, вот как нужно его ставить.

– Не нужно ничего ставить, – лениво пробормотал я. – Все, что требует установки, пусть остается неустановленным. Естественность – навсегда. Нечистая сила... Мне гораздо больше нравится чистая сила. Вот как эта девушка.

Она вышла из воды, выкрутила волосы, накинула халат и стала вытаскивать и выкручивать из-под него купальник. Чем-то напомнила мне Пуэллу. Такая же тонкая и одновременно сильная. Как пружина. Жаль, что далековата. Вот было бы смешно, если бы она оказалась Пуэллой. Это значило бы, что я ничего о ней так и не понял. Если я не ошибаюсь, она сейчас шерстит записи с камер на всех главных вокзалах Теллуса. Или занимается похоронами собственного папеньки. Куда ты отправишься потом? Я так старательно рассказывал тебе, что не люблю жару и толпы туристов, что именно там ты и должна меня искать.

– Это м-моя дочь, – процедил сквозь зубы мой сосед по лавочке.

– Пойдемте, – сказала она, приблизившись.

Я узнал дочь хозяйки – Ангизу.

– Пойдемте, папочка не живет с нами уже десять лет, но до сих пор не только тянет с матери деньги, но и выслеживает наших жильцов и пытается вымазать нас в грязи.

– М-вас незачем-м м-мазать, – затрясся от ненависти, почему-то встал на четвереньки старик. – Вы и...

– Пойдемте, – взяла она меня за руку.

– Четыреста двадцать пять ступеней, – напомнил я.

– Эта семейка... – заскулил за спиной старик. – М-м-мерзость!

– Четыреста десять, – поправила она меня. – Еще пятнадцать – с набережной до пляжа. Я люблю точность.

«А еще что ты любишь?» – готово было сорваться у меня с языка, но я промолчал. Она и в самом деле была сложена почти так же, как и Пуэлла. Конечно, ей было далеко до не только дочери, но и ученицы Менториса, но зато в ней чувствовалась какая-то живая дикость. К тому же она была моложе Пуэллы лет на десять. Свежесть ее кожи поражала. А уж сама мысль, что отсчитывающая стройными ногами ступени передо мной девчонка обнажена под коротким халатом, окрашивала суету последних трех дней какими-то новыми красками.

– Он здоров? – спросил я о старике.

– Да, – пожала она плечами, отчего халатик задрался. – Пил. Да и теперь пьет. Но есть какие-то ограничения в голове. Есть. Вот, Лео кое-что от него взял. Но Лео безобиден. Да и он тоже. Он тихий.

– Я тоже тихий, – сказал я.

– Бывают тихие художники? – спросила она.

– Художники почти ничем не отличаются от людей, – соврал я. – Но я плохой художник.

– Вот те на, – огорчилась Ангуза. – А я уж хотела попросить вас нарисовать меня. На фоне моря.

– Море у меня есть, – припомнил я. – Уже нарисованное. Давайте приклеим вашу фотографию.

– Ищите легких путей? – спросила она.

– Хорошо, – согласился я, – давайте приклеим вас.

– Тогда незачем брать нарисованное море, – завершила она разговор. – Оно уже есть. И я приклеена к нему. Намертво.

Да, четыреста десять ступеней оказались весьма короткой дистанцией. Я бы не отказался повторить ее еще раз пять. Особенно если бы чуть выше и впереди шествовала девчонка, одетая точно таким же образом. Ангуза открыла воротца в глинобитном заборе, через которые мне предстоит ходить ближайший месяц, вошла внутрь, остановилась под раскидистой сливой и, обернувшись, обняла меня. Когда через несколько стремительно промчавшихся минут я недоуменно посмотрел на нее, она улыбнулась и прошептала:

– Все-таки в чем-то папенька был прав, – и, дурачась, продолжила: – Но м-жизнь слишком коротка, чтобы м-м-м-отказывать себе в удовольствии-м.

Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии. Нет, Пуэлла произнесла что-то иное, когда заявила ко мне в квартирку и начала раздеваться так, словно собиралась принять душ после разминки. Тогда я был не столь решителен, как теперь, хотя чего могла стоить моя решительность сама по себе? Но Менторис никогда не шутил, а относительно Пуэллы он сказал без обиняков – залезешь к дочери под юбку – убью. И неважно, что сказал он это десять лет назад, и за это время много чего случилось, и его ученик давно уже не был безусым юнцом, то, что Менторис сказал один раз, действовало до тех пор, пока он не сказал бы что-то иное. Собственно поэтому, когда Пуэлла сбросила с себя одежду, я сразу понял, что мне придется убить Менториса. Или я, или он. И вот ведь, вроде бы не ладили отец с дочерью, но он стоял на страже ее будущего сторожевым псом. Что же она тогда сказала? Ну точно – пользуйся. Да. Пользуйся. А Менториса в итоге пришлось убить. Осталось выжить самому. Пользуйся?

– Я спать, – сказала Ангуза, но остановилась на дорожке, ведущей к его комнате. – Смотри.

Я остановился у вольера. В полумраке угадывалась фигура лежащего человека.

– Лео, – прошептала Ангуза. – Ничего страшного. Он быстро отходит. Но когда вот так лежит, то никому не мешает. Просто спит. Не опасен. Когда ваша комната свободна, он спит там.

– Что говорят врачи? – спросил я.

– Ничего, – хихикнула Ангуза. – Они же не знают.

– Почему? – спросил я.

– Тебе это мешает? – не поняла Ангуза.

– Нет, – хмыкнул я. – Почему это должно мне мешать?

– Тогда не дергайся, – посоветовала она. – Он – не твоя болячка. Не нужно ее ковырять, – она приблизилась ко мне, и прежде чем поцеловать в щеку, прошептала: – Душ на улице – с теплой водой. Спасибо тебе, плохой художник, за хорошую работу. Если болячка будет своя, тем более не нужно ее ковырять. Ты поймешь.

Женщина... Она мне говорит, что я пойму что-то, будучи младше меня почти в два раза. Впрочем, сколько раз я это уже слышал. Потом ты когда-нибудь поймешь. Только всякий раз это произносилось в адрес кого-то исчезающего навсегда. Единственный, кто мог бы мне это сказать с полным правом, был Менторис, и то только в первый год моего обучения. Через год он стал осторожен со мной. Осторожен, как с соперником. Черт его знает, что на него нашло, но это я почувствовал определенно. И все-таки надо нынешнее приключение заканчивать. Если события будут развиваться таким же темпом, Дамну придется сменить на что-то более спокойное. Со мной ничего не должно происходить. Совсем ничего. Случайности исключены, однако они выстраиваются в очередь. В тот день, когда я собрался залечь на дно, на этом дне обнаружился сумасшедший старик, его распутная дочь и впавший в оцепенение или странный сон молодой человек, который несколько часов назад производил впечатление нормального парня. Еще хоть что-то и все. Уйти прогуляться к морю и исчезнуть из этого поселка навсегда. Хотя тот же Менторис повторял, что, разбирая провал любого из агентов, он всегда приходил к одному и тому же выводу – судьба предъявила множество знаков, замучилась предупреждать неудачника, но внезапная слепота не только необъяснима, но и всеильна. Или колдовство запрещено зря, и порча все-таки существует?

Я почувствовал руки у себя на плечах, когда стоял под душем. Не руки Ангузы, а руки ее матери.

– Мата, – прошептал я, оборачиваясь и уже зная, что в этом раю мне нет места.

– Пессимус, – успела она сказать до того, как я коснулся ее губ. – Странное имя. Хочешь, я назову так своего кота?

– Нет, – прошептал я и вспомнил: «Безутешная хозяйка разыскивает пропавшего котика Пессимуса. Особые приметы – припадает на одну ногу. Вернись, мой герой. Твоя Пуэлла». Нет, не может быть. Пессимус – не имя, а кличка, о которой знаю только я и Пуэлла. Впрочем, какая разница, завтра меня здесь уже не будет. А память останется. И, надеюсь, не только у меня.

Я зашел в свою комнату через полчаса. Щелкнул выключателем, в свете тусклой лампы бросил на табурет стопку одежды, стянул прихваченное на пояс полотенце. Повязка на ноге держалась хорошо, плекс защищал рану от воды. Сколько мне осталось обходиться без хромоты? Три или четыре дня? Успею залечь где-нибудь еще подальше. Но без подобных удовольствий. Глухая гостиница, дешевый номер, лишь бы без насекомых. И тишина. Несколько коробок пива не помешают, конечно.

За моей спиной послышался шорох. Я обернулся, положив руку на пояс. Вот дьявол, все оружие осталось в тайнике. Что там? Между холодильником и печью, точно посередине пустой стены, на которой в обычных отелях вывешивают телевизор, сидел кот и смотрел на меня неотрывно. Я подхватил полотенце, снова зачем-то обернул себя и присел в паре шагов от зверя.

– Чего ты хочешь? – спросил я его и понял, что немедленное нападение мне не грозит. Кот не топорщил усы, не прижимал уши, не шипел. Он просто пристально и не отрываясь смотрел мне в глаза.

– Нет, приятель, – сказал я ему. – Я мог бы тебя взять в постель, но ты явно хочешь от меня большего. Поэтому выбирай между брысь на улицу и сиди себе на полу хоть до утра. Хотя глазищи у тебя что надо. Желтые и жадные. Не знаю, чем я могу тебе помочь, но если верить твоей хозяйке...

«Если верить твоей хозяйке», – странным эхом пронеслось где-то внутри моей черепной коробки, но я не собирался выстраивать сложные схемы для последнего дня в этом поселке, поэтому опустил на колени, наклонился к коту и пристально посмотрел ему в глаза.

Я не запомнил, как я заснул. В этом не было ничего странного, кто может вспомнить мгновение перехода из яви в сон, но я не запомнил, как поднялся и лег в постель. Помнил душ, помнил неожиданно стройное и мягкое тело Маты, которое все же не сумело затмить воспоминание о ее дочери. Помнил сумасшедшего старика, но не помнил, как лег в постель. Теперь же я не мог и проснуться. У меня не было ни ног, ни рук, хотя глаза были, во всяком случае я точно пытался таращить их или даже моргать ими, чтобы рассеять тьму, которая окружала меня со всех сторон, которая наполнила меня изнутри, которая сама была мною. В далеком детстве, если мне снились ужасы, я должен был прыгнуть с высокого места в пропасть, и сон неизменно оборачивался спасительным пробуждением. Сейчас не было ни кошмара, ни пробуждения, ни высокого места. Была только тьма. И я пытался выбраться из этой тьмы. Вскоре я даже не мог хлопать глазами, потому что тьма начинала прилипать к ресницам и висеть на них тяжкими комьями. Мне нужно было выбираться, но я не знал, откуда я должен выбираться и как, если у меня нет ни рук и ни ног. Поэтому я стал придумывать себе руки и ноги, и уже придуманными руками разгребать что-то тяжелое и липкое, и протискиваться через него, прорываться, пробиваться, ползти и снова разгребать и протискиваться.

Это длилось очень долго. В какое-то мгновение мне начало казаться, что это было всегда. И что все, что происходило раньше, было чем-то незначительным и случайным, а вот эта темнота и есть самое главное, суть, существо меня. А потом я проснулся.

Я увидел доску, на которой лежал. Не постель, а доску. Повернул голову и с трудом рассмотрел сетку, как будто я смотрел на нее изнутри. Опустил взгляд на каменный пол вольера, разглядел миску с кормом, спрыгнул и начал есть. Точнее, не так, ел не я, а кто-то другой. Просто у меня перед глазами мелькала миска и какое-то отдаленное ощущение подсказывало мне вкус еды. Станный, но отчего-то приятный. Значит, я был в вольере, ел из миски, и мне это нравилось. Точнее, мне это совсем не нравилось.

– Вот видишь, – донесся с той стороны клетки слишком громкий, но знакомый голос. – А ты боялся за зверя.

– Он лежал пластом два дня, – прозвучал в ответ другой знакомый голос. – Раньше такого не случалось.

– Раньше и постояльца такого не было, – ответил первый голос. – Лео очень доволен. Сказал, что отличное тело. Этот художник явно раньше был военным. Пришлось схватиться там кое с кем, так впервые Лео обошелся без побитой физиономии. Он даже сказал, что подумывает оставить это тело себе.

– Он идиот? – обладатель второго голоса обозлился. – Зачем же он тогда пихал его рожу под все камеры? Этой же ночью камень к ногам и в море. А если Лео будет упрямиться, я его тушку туда отправлю, надоело уже выносить за ним!

Я подошел ближе к сетке. Почему-то я оказался низко, хотя стоял, а не лежал. Основание сетки, обвитой пожелтевшим вьюном, было точно на уровне моего взгляда. С другой стороны сетки на садовых качелях сидели Мата и Ангуза. Покачивались и разговаривали. Но сидели и покачивались очень высоко, а я был низко. Но не лежал, а стоял. Я посмотрел на свои ноги и увидел кошачьи лапы.

Тьма вновь затопила все вокруг.

«Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все. Зажмурится и замурчит».

«Жизнь слишком коротка».

«Главное не затягивать. К тому же твоя тушка, Лео, киснет. Думаешь, я всякий раз буду заставлять ее держать глаза открытыми? Ах, чего мне это стоит? С кем ты еще хотел разобратся? А ты не думал, что тебя уже могут искать? Ты забавляешься третий день! Хватит, Лео, остановись! Ангуза, держи его... Ну что ты будешь делать? Лео, ты допрыгаешься, я отнесу кота в комнату, и этот чертов художник окажется в твоём теле! Что значит, не забудьте его связать?»

«Ангуза! Он какой-то идиот! Что он делает теперь?»

«Рисует».

«Зачем?»

«Думает, что если художник чудно дерется и стреляет без промаха, то он должен писать великие картины».

«И как?»

«Мазня какая-то. Но я ж тебе говорила, этот Пессимус сам сказал, что он был плохим художником».

«У него были другие достоинства».

«О, ты тоже успела его раскупорить?»

«В прошлый раз ты говорила – распаковать».

«Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все».

Тихий звук подъехавшей машины. Еще более тихое хлопанье двери. Сухие, еле различимые выстрелы. Знакомые выстрелы. Как глухие щелчки. По два сдвоенных на жертву. Один человек. Второй человек. Третий человек. Затем одиночный более громкий и крик боли. Удар, и потом уже хныканье. Еще один, уже более сильный удар. Загорается свет, и я вижу влетевшего в комнату самого себя. Оборачиваюсь и понимаю, что я сижу на постели, тут же лежит «тушка Лео». Мое родное тело скулит на полу, зажимая простреленную руку. Вслед за ним в дверь заходит Пуэлла с двумя пистолетами в руках и шипит как змея:

– Ты думал от меня скрыться? Нет, вы только подумайте, он думал от меня скрыться! За каким демоном, ты бросился во все тяжкие? Сошел с ума! Я уж думала, нанял кого-то надеть свою маску, а оказывается, собственной персоной! Это кто еще? Кто это лежит связанный на постели?

– Я не Пессимус, – скулит мое тело. – Я другой. Это я лежу на постели.

– Интересно, – смеется Пуэлла.

Это плохо, когда она смеется. Очень плохо. Но он этого еще не понимает, хотя пора бы уже. Рука прострелена. И, кажется, начала уже болеть нога. Вот это плохо. А ведь были у него шансы, были.

– Очень интересно, – смеется Пуэлла. – Пессимус говорит мне, что он не Пессимус, а лежит на постели.

– Эй?

– Она бьет тушку Лео ногой. Тушка вздрагивает, подтягивает колени к животу и вдруг жалобно мяукает.

– Мяу? А вот так?

Она вскидывает пистолет с глушителем и всаживает тушке Лео пулю в лоб.

– Теперь где ты? Ты только что лежал на постели, теперь там лежит труп. Говори, где ты теперь?

– Здесь, – хрипит Лео моим голосом. – Но я не Пессимус. Пессимус – кот! Он кот. Пустышка!

– Не смешно!

Звучит громкий выстрел, и вторая рука Лео повисает плетью. Какого черта? Это же не его рука, а моя рука! Но Пессимус кот... А тело Хероса, которого кое-кто называла в постели Пессимусом, скулит и трясется у ног прекрасной Пуэллы, агента секретной службы Теллуса, дочери шефа Менториса. «Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все».

– Послушай, Херос, – она присела на край постели, резким ударом插插了 дуло пистолета в мой бывший рот. – Я знаю, что ты всегда считал себя самым умным. Да, тебе везло. Ты выпутывался из ужасных ситуаций. Но это – моя операция. Я собиралась убить своего приемного отца. Не ты, а я. Поверь мне, у меня были для этого основания. Ты убил его, чтобы он до тебя не дотянулся, но ты выполнял мое решение. Он в самом деле хотел дотянуться до тебя, потому что я жаловалась ему на тебя, что ты лезешь ко мне под юбку, но не отцовская ревность двигала им. Просто ревность. И да, к тебе под одеяло залезла я сама. И это я сорвала шпингалет на окне, я подсказала тебе идею с подкормкой. И я зудела насчет этого шпингалета, изображая заботливую дочь. Наконец, я устроила ловушку в твоей квартирке, из которой ты сумел вывернуться. Теперь, когда ты знаешь все это, скажи, где деньги Менториса? Я никогда не поверю, что ты не озаботился в первую очередь его деньгами! Они пропали со всех счетов в тот же день. Я их все равно найду, не усложняй мне жизнь. Где они?

– Не знаю, – заскулил Лео.

– А вот так?

Она встала и наступила ему на гениталии, заставив не только завывать Лео, но и содрогнуться меня самого, все-таки это была важная часть меня.

– Не знаю, – завыл, захрипел Лео.

– Как знаешь, – нажала на спусковой крючок Пуэлла, завершив пробег моего замечательного материального я. Интересно, как она собирается моделировать место преступления? У тела Лео дырка в голове! Как он отстреливался? Ах вот как!

Пуэлла подняла пистолет с глушителем и выстрелила в плечо настоящему трупу Лео. Затем обжала его пальцами обычный пистолет. Бросила оружие на пол,插插了 в ту же ладонь пистолет с глушителем. Похоже на правду, но только если не знать, каким агентом был Херос, которого одна обворожительная коллега называла в постели Пессимусом.

– Ну что, – Пуэлла посмотрела на меня. – Ты теперь Пессимус? Иди сюда, пустышка. Имей в виду, я строгая хозяйка. В глаза мне смотри!

Она схватила меня за шиворот и встряхнула.

«Только не это», – подумал я.

Юлия Сиромолот На пересечении Правды и Свободы

На пересечении Правды и Свободы... нынче заседание... На пересечении Правды и Свободы общее собрание... Раз-два-три-четыре, пятый это хвост, шесть-семь-восемь-девять...

Мотыль бежал, приговаривая про себя всякую ерунду. Это у него привычка такая – вроде бы и ум занят, но почему-то помогает следить и все сразу видеть.

Раз-два-три-четыре, следом раскоряка, глупая собака... Бублик сопит, громко клацает когтями.

– Мотыыыль... Скоро уже?

– А тебе чего, – но оборачиваясь, буркнул Мотыль. – Тебя вообще не звали.

– Мне надо...

Надо ему... Стыд один с этим Бубликом. Ведь уже пугнул его два квартала назад, шипел... а толку! Раскоряка только прижался было к мусорному ящику, а потом все равно нагнал.

– Ты не кот. Тебя не пустят. Майко тебя разорвет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.